

Жребий праведных грешниц. Возвращение

Автор:

[Наталья Нестерова](#)

Жребий праведных грешниц. Возвращение

Наталья Нестерова

Жребий праведных грешниц #3

Великая Отечественная война. Блокада Ленинграда. Семью Медведевых ждут тяжелейшие жизненные испытания, череда обретений и утрат, им предстоит познать беспредельную силу духа, хлебнуть немало горя. Эта книга о силе и слабости человеческой, о самопожертвовании и женской любви, которая встает как проклятие или благословение, разрывает связи с близкими людьми и уничтожает надежду на будущее, но помогает выстоять в войне против жестокого врага, ибо дает любящей женщине колоссальную силу. Жизнь героев романа, как жизнь миллионов людей, уложилась в исторические рамки бытия советского государства.

«Жребий праведных грешниц. Возвращение» – третья, заключительная часть саги Натальи Нестеровой.

Наталья Нестерова

Жребий праведных грешниц. Возвращение

© Н. Нестерова, 2016

© ООО «Издательство АСТ», 2016

* * *

От автора

Работа над трилогией подарила мне радость открытия, что не только профессиональные историки, краеведы, этнографы владеют знаниями о прошлом России, но и очень много простых людей оставили воспоминания поистине уникальные. Это касается всех периодов и мест, которые были для меня важны: Сибирь начала прошлого века, предвоенный быт, Курск во время немецкой оккупации, ленинградская Блокада. Моя глубокая благодарность тем, кто передавал рассказы очевидцев из уст в уста, кто записал их. Это наша история, пропущенная через судьбы.

Моя глубокая признательность специалистам разных областей за интересные и толковые консультации: Е. М. Дутовой, О. В. Буратынской, М. А. Жигуновой, Л. А. Ивановой, И. М. Плаксину, Л. И. Лариной, В. М. Губареву.

Ирине Николаевне Умеренковой – низкий поклон за помощь, поддержку и доброту.

Мое восхищение профессионализмом редакторов О. А. Павловской и Татьяны Николаевны Захаровой, обладающей редкой способностью найти и исправить ошибки столь деликатно, что автор не краснеет и не тушуетя.

Мария Сергеева, заведующая редакционно-издательской группой АСТ, по возрасту годится мне в дочери, и в то же время она – «повивальная бабка» всех моих книг, начиная с первой, выпущенной много лет назад. Как важны добрые и умелые руки, принимающие новорожденного ребенка, так и для книг значимо отношение тех, кто читает их в рукописи. Разница заключается в том, что мы, как правило, не знаем тех, кто первым взял нас на руки, а редактору имеем возможность выразить искреннюю благодарность. Что я и делаю с желанием уточнить понятия: «повивальная бабка» давно превратилась в доброго ангела.

Подготовка книги к печати, ее продвижение и распространение – это труд многих людей, чьи имена не значатся в выходных данных книги. Сотрудникам

издательства АСТ, команде, которая трудилась над моей трилогией, – огромное СПАСИБО!

Я не знаю, как благодарить моих главных вдохновителей: мужа, детей, внуков, невесток, друзей – как не знаю слов благодарности воздуху, которым дышишь.

Посвящается ленинградским блокадникам, павшим и живым. Всем, кто о них помнит.

Часть первая

Накануне войны

Два чувства дивно близки нам –

В них обретает сердце пищу –

Любовь к родному пепелищу,

Любовь к отеческим гробам.

Живородящая святыня!

Земля была б без них мертва,

Как раскалённая пустыня

И как алтарь без божества.

А. Пушкин

Мать – творит, она охраняет...

Мать – всегда против смерти.

Ленинград

Весной 1941 года знакомый сапожник сказал Марфе (не для передачи, и языком трепать не надо), что война точно будет и накопления на сберкнижках держать нельзя – реквизируют, а что под матрасом спрятано – обесценится, сама помнишь, как в Гражданскую было, когда деньги в фантики превратились. Сапожник был знающий: у него в мастерской имелся радиоприемник, включенный с утра до вечера. Когда сапожник впадал в запой, его жена приемник уносила и прятала – таков был строгий наказ трезвого мужа, не уверенного, что в пьяном угаре не пропьет дорогую и ценную вещь. Марфа сапожнику доверяла еще и потому, что работал он на совесть, прибитые им подковки не отваливались от каблуков, а подметкам сносу не было. Сапожник питал к Марфе некую слабость, не в амурном смысле, а за оценку его труда. Когда сапожник запивал, Марфа не шла к другим мастерам, а дожидалась его выхода на работу.

У Марфы было накоплено шестьсот рублей – за обучение старшего сына Митяя в девятом классе осенью надо заплатить двести, за десятый класс потом еще двести плюс подсобрать на обучение в институте, в который Митяй, конечно, поступит.

«Образовательные» деньги Марфе было тратить обидно и горько, ведь копейку к копейке собирала. Но выхода нет. Война – лихолетье, в котором выживают только запасливые хозяева, вроде ее покойной свекрови.

Александра Павловича Камышина, в семье которого Марфа уже много лет, еще с Омска, состояла в домработницах, она спросила при случае:

– Имеются у вас деньги на сберкнижке?

Он кивнул, удивился вопросу: Марфа была щепетильна до крайности в финансовых делах и экономна до жмотства.

– Могу я поинтересоваться, на что тебе понадобились деньги?

– Война с немцами будет.

– Исключено, мы с ними подписали договор о ненападении.

– У меня точные сведения, – упрячилась Марфа.

– Да? – благодушно хохотнул Камышин. – От кого, позволь спросить? Ты имеешь связи в органах зарубежной разведки?

– Какие надо связи, такие и имею. Сколько у вас накоплено?

– Рублей пятьсот.

Негусто, меньше, чем в кубышке у Марфы. Впрочем, неудивительно – при транжирстве-то Елены Григорьевны, жены Камышина.

– Завтра же и сымите. Буду запасы делать.

– Марфа, милая, – снова рассмеялся Камышин, – ты можешь подорвать финансовую мощь государства. Если все поддадутся панике и станут забирать накопления, случится денежный коллапс.

– Мне до всех дела нет, свое домохозяйство перед лихолетьем надо укрепить-обеспечить. Дык, сымите?

Марфа нервничала, потому что он тянул время и смотрел на нее с насмешливым обожанием.

Камышин любовался ею: статная, налитая женской силой, которую не скроешь за мешковатой одеждой. В сорок пять лет Марфа выглядела так, что мужчины, общаясь с ней, приосанивались, расправляли плечи, задирали брови, стреляли глазами. Имей бы, как петухи, перья, призывно встопорщили бы их, будь парнокопытными, выбивали бы дробь конечностями. Но Марфа была равнодушна к мужским ухаживаниям. С Камышиным ее связывали непростые отношения – давние, Марфой пресеченные решительно и бесповоротно.

- Сымите? – повторила она, поджав губы.

- Как прикажешь.

- Спасибо, барин! – поклонилась Марфа и вышла.

Она называла Александра Павловича барином, когда яростилась на его поведение. Камышин терпеть не мог этого обращения.

Марфа принялась закупать продукты долгого хранения – крупы, муку, макароны, сахар, соль, хлеб сушила на сухари. Однажды Камышин, возвращаясь с работы, встретил у парадного Марфу, которая тащила два мешка – один огромный, другой поменьше.

Александр Павлович забрал у нее ношу и спросил:

- Что у тебя тут?

- Клей столярный, – ткнула Марфа на большой мешок, – и лаврового листа по случаю перепало.

- Зачем тебе столько клея? – поразился Камышин.

- Дык его из костей варят.

- Марфа, ты умом тронулась? Собираешься нас клеем кормить? – Камышин остановился на ступеньках.

- Путь будет. – Марфа попыталась забрать у него мешки, но Камышин не отдал. – Съедобное всё ж таки. Вы голоду настоящего не знали.

- А ты знала?

- Нет, потому что у меня свекровь была мудрая женщина.

- Полнейшая ерунда! Сожрут мыши все твои запасы, помяни мое слово.

- А я кота завела, настоящего крысолова, выменяла на сковородку чугунную.

- Если уж ты настолько озабочена предстоящим голодом, - с издевкой проговорил Камышин, - то завела бы дюжину котов и собак. Мясо всё ж таки, - передразнил он.

Через полгода в Ленинграде не останется домашних животных - все они будут съедены, мыши передохнут сами собой, а крысы, напротив, размножатся.

Но еще до начала Войны произошло событие, повлиявшее на будущее семей Медведевых и Камышиных.

Марфа схватила кухонное полотенце и принялась стегать сына. Минуту назад Митяй сообщил, что Настя Камышина от него беременна.

- Ах ты, ирод! Варнак! Переселенец! - кричала Марфа.

В свое время, когда в Сибирь хлынул народ из центральной России и Украины, слово «переселенец» у коренных сибиряков стало ругательным.

Петр, отец Митяя, гыгыкал, глядя, как жена лупит сына, а тот слабо отмахивается. Петр всегда гыгыкал по любому поводу и без повода. Когда нормальные люди открывают рот, чтобы словами донести свое мнение о происходящем, из уст лыбящегося Петра вырывается: «гы-гы-гы». Сослуживцы, Петр работал кочегаром-истопником, и соседи принимали его за недоумка. И только близкие знали, что еще никому не удалось выиграть у Петра Еремеевича в шахматы, что он складывал в уме пятизначные числа, что, фанат-рыболов, он всегда приходил с большим уловом, ему были известны повадки каждого вида рыб. Кроме шахмат, праздных арифметических упражнений и рыбалки, Петра более ничего не волновало. Для окружающих он был физически сильным полудиотом.

- Язви ты черти! - разорвалась Марфа. - Ты пошто девку спортил?

Как и все Медведевы, Марфа была высокого роста, но двухметровому Митяю доходила только до носа. Ему надоело уворачиваться, тем более что мама обладала нешуточной силой и полотенце хлестало больно.

Он захватил полотенце, притянул за него мать, крепко обнял:

- Мам, хватит! Не портил я ее. Так получилось. Случайно...

- Дык, разве случайно девки брюхатеют, - обмякла Марфа и, всхлипнув, уткнулась сыну в грудь. - Как я теперь барину и барыне в глаза посмотрю?

- Я заметил, - Митяй широко улыбнулся и погладил мать по спине, - что, когда ты злишься или волнуешься, переходишь на сибирский говор. И еще называешь Елену Григорьевну и Александра Павловича барами. Какие они бары? Простые советские труженики, интеллигенты.

- Ага, Елена Григорьевна особо труженица у нас.

Критику в адрес хозяйки ни отец, ни сын не восприняли серьезно. Марфа пылинки сдувала с Елены Григорьевны, относилась к ней как к хронически больному ребенку. Этому ребенку было за сорок лет и она выкуривала две пачки папирос в день.

С улицы прибежал Степан, младший, тринадцатилетний сын Медведевых. Увидел обнимающихся мать и брата.

- Кто-то помер? - с испуганным интересом спросил Степан. Интерес было значительно больше, чем испуга. Не дожидаясь ответа, сообщил: - В двадцать четвертом корпусе дядька умер, сейчас выносили, на лестнице, на повороте гроб не вписался, мертвец чуть не выпал...

- Я тебе! - показала Марфа ему кулак. - Цыть!

Степан юркнул под мышку к отцу, который продолжал гыгыкать.

Марфа отстранилась от сына, взглянула на него с любовью и болью:

- Тебе лет-то сколько...

- Шестнадцать. Зато Насте восемнадцать.

- Какие из вас родители, малолетки!

- Переведусь в вечернюю школу. Пойду работать.

Степан ткнул отца в бок:

- Про что они?

- Настя, гы-гы, от Митяя, гы-гы...

- Заверменела?.. забереваемевневе... - запутался Степан.

- Гы-гы, - подтвердил отец.

- В двадцать шестом корпусе, - в голос, громко перебил беседу матери и брата Степан, - тоже девушка нагуляла, так ее мать по коридору за косы таскала, от квартиры к квартире, чтобы выяснить кто...

- Уши после вчерашнего зажили? - спросил Митяй брата.

Он уже давно не прикладывал младшего брата по-настоящему, трудно было силу рассчитать, крутил за уши, когда Степка проказничал. Степень усилий легко определялась по визгу младшего брата, и Митя прекрасно слышал, когда Степка вопит притворно, а когда ему действительно больно и страшно, что без ушей останется.

Степка был смышленным, учился отлично, домашнее задание делал за двадцать минут. Но не потому, что школу и учебу любил. Хотел быстрее отделаться - и на улицу. Если в дневнике двойки и тройки, то мать на улицу не пустит, а Митька уши выкрутит, потом они как у слона. Если уши слона в кипяток опустить и сварить.

Степка был артист и хулиган. Прекрасно подражал голосам соседок. Мог постучать в их двери, попросить: «Маня (Глаша, Вера, Таня...), сахару не одолжишь?» И вместе с приятелями убегал, прятался за дверью на общую кухню. Женщины выходили и пялились друг на друга, выясняли, кто у кого одолжиться хотел. Потеха!

Проказы с кошельками на веревочке, пятаками, приклеенными к мостовой, которые «счастливые» обладатели найденного поймать или отодрать не могли – это все Степка Медведев. И еще он обожал многолюдное действо: похороны, поминки, свадьбы, соседский мордобой, женские кухонные склоки. Стоял где-нибудь в уголке (в окружении приятелей, конечно) и в нужный момент мог гаркнуть: «Так она сама его в гроб загнала!» или: «Глядь, какая на ней кофта! У Маруси тридни назад такая пропала – чистая стиранная, с веревки», или: «Соли-то вам в борщ Верка бухнула. А вы думала, что дважды посолили». Кухонная бабья перебранка, привычно и мирно булькающая, превращалась в громотрясное извержение вулкана.

Елена Григорьевна Камышина говорила про Степку:

– Это больше, чем талант. Это дар. Прирожденный режиссэр, – Елена Григорьевна многие слова произносила на дореволюционный манер.

Марфа качала головой:

– По тюрьмам да острогам этот режиссэр будет театр наводить.

Ночью Марфа плохо спала, хотя обычно, намаявшись за день, засыпала как убитая – из пушки пали до пяти утра не добудишься. В пять, точно по внутреннему будильнику, открывала глаза, начинался рабочий день, который в лучшем случае заканчивался в десять вечера – это если Елена Григорьевна не загуляет, не придется ее дожидаться из театра, ресторана или из гостей. Вставать рано Марфа привыкла с детства, с крестьянских юности и молодости.

Одoleвали тревоги за будущее старшего сына, напoлзали как злые муравьи, подступали к сердцу, но впиться не могли, смывало их волной – радостью сознания того, что на свет появится новый человек – ее, Митенькино, Еремея Николаевича Медведева, царство ему небесное, продолжение. Того, что ее сын

не от мужа рожден, а от свекра, не знала ни одна живая душа. Петр детей не мог иметь, точнее, не захотел делать операцию, чтобы их иметь. Семнадцать лет назад от безысходности Марфа полезла в петлю, свекор случайно в сарай заглянул, спас ее. И подарил ей счастье понести Митеньку. Еремей Николаевич был очень хорошим, жалостливым человеком, не снохарем-домогателем, не преследовал ее, не задаривал ради случки. Просто подарил ей счастье материнства. Ради такого парня, как сынок Митяй, стоило не то что под свекра лечь, под последним варнаком распластаться.

Вот и Степка... Марфа тяжело вздохнула и перевернулась на другой бок. На одно лицо с хозяином, Александром Павловичем Камышиным. Удивляться нечего, что сын на отца похож. Ехидные соседки подкатывали к Елене Григорьевне, указывали на сходство и на то, что муж ее Степку сынком называет.

Елена Григорьевна вскидывала брови и пускала дым от папиросы в лицо сплетницам:

– Он так называет и Дмитрия, а Марфа мою Настеньку – доченькой. По-видимому, вам не знакомы особенности личного обращения у русского народа. Хотя вы сами явно не голубых кровей, а высшего филологического образования для этого не требуется. Что же касается сходства, то я похожа на английскую королеву Елизавету. Прикажете записать себя в ее наследницы? Избавьте меня от пошлых домыслов и собственного присутствия.

Они еще в Омске жили, когда Марфа уступила напору Александра Павловича. С его стороны была страсть, Марфе совершенно не нужная, с ее стороны – ноющее, измучившее как безостановочная внутренняя судорога желание иметь еще одного ребенка. Как только убедилась, что понесла, дала барину от ворот поворот. Он бесновался, до сих пор нет-нет да и совершает попытки.

Две или три недели назад было. Нетрезвый, зажал ее в уголке у сортира, в грудь уткнулся:

– Марфинька, милая! Как я без тебя истосковался!

И давай целовать куда попадя.

Пьяный, поэтому можно не церемониться. Врезала ему кулаком снизу в челюсть, отлетел, приземлился на задницу. Пол-лица у него потом раздуло синячищем, говорил всем, что на лестнице поскользнулся. А как еще учить? Дай ему! Она не гуляющая баба! Хоть и грешница, большая грешница.

Мысли снова вернулись к Митяю. Шестнадцати лет никак не дашь – плечи широченные, в талии узок, руки и ноги длинные, чувствуется в них сила большая и даже кажется, что подрагивают от невозможности применить эту силу. В детстве у него были волосы беленькие, нежно-кудрявые, с возрастом потемнели, но волна на русой макушке при дурацкой стрижке полубокс осталась. Глаза серо-голубые, глубоко посаженные и как у Еремея Николаевича добрые-добрые. Лицо крупное, губы чудно хороши. Сколько раз наблюдала, уставятся бабы на его рот и немеют. Марфе-то привычно, а одна из приятельниц Елены Григорьевны сказала: «Поцелуями этих губ можно торговать». И вот что странно. Глаза добрые, губы завлекательные, фигура могучая, а весь Митяй в целом никак не располагает к легкости общения, к панибратству. Нет в нем простетскости, он не «свой парень», он сам по себе, отдельный. При этом в каждой дырке затычка, особенно в спортивных. За школу, а то и за район выступать по бегу, футболу, гребле, прыжкам, плаванию, по конькам – кто? Дмитрий Медведев.

К Марфе один раз тренер пришел, не то по волейболу, не то баскетболу, но по какому-то «болу» точно. Напористый, даже испугал поначалу, заморочил. Принялся триндеть, что Митяй перспективный, что у него возможности в составе сборной за границу ездить, Марфе хотелось в ушах пальцами прочистить – заложило. Кивала, делая вид, что понимает и вникает, так же кивала учителям в школе, которые говорили, что Митяй способный, но «неопределенный». Ему, мол, нужно решить, в каком предмете, в математике, биологии или в литературе подналечь, чтобы из твердых хорошистов перейти в полные отличники.

Эти люди, безусловно желавшие ее сыну добра, не понимали, что она – только мать. Хорошо кормить, вежливость и уважение к старшим прививать. Одевать с иголки – чтоб туфли парусиновые, каждое утро порошком зубным натертые, белоснежно сверкали, на толкучке втридорога купить «соколку» – трикотажную футболку со шнуровкой на груди, следить, чтоб порты не коротки были, ведь рос как на дрожжах, только школьные брюки справишь, а они через полгода чуть не до колен подскочили.

Однако именно ей, матери, Митяй доверил свою мечту. Не спортсменом, не ученым по биологии хотел стать, а художником. Это у него тоже от настоящего отца. Еремей Николаевич вырезал по дереву – красиво, затейливо.

Елена Григорьевна год назад нашла Митяю учителя по живописи – для подготовки поступления в Художественную академию. Двадцать рублей в месяц учитель брал – это десять литров керосина, но Марфа не скупилась. Раз надо, значит надо, парень должен сам свою судьбу строить, а она, мать, только условия создавать и следить, чтобы не охальничал, чтоб повадок бандитских не набрался. Ходил-ходил Митяй к учителю, а потом вдруг смотрит Марфа сын какой-то стал вроде приспатый, будто дрых десять лет, а сейчас проснулся, озирается, как впервые видит, и то, что видит, ему не нравится.

– Смурной ты в последнее время, – прямо заявила она Митяю. – Говори как есть матери. Чего не пойму, растолкуешь.

Митяя точно прорвало: заговорил торопливо, горячо, размахивал руками, когда не мог подобрать точного слова.

– Ведь как мы, то есть я представлял живопись? Эрмитаж, Русский музей, Рубенс, Веласкес, передвижники – как вершина классового искусства. Какое отношение классовая борьба имеет к творчеству? Помнишь, я водил тебя в музей?

– Конечно, «Бурлаки на Волге».

Для Марфы каждый выезд в город был мукой. Но сын очень хотел показать ей картины. Запомнились «Бурлаки». Большею частью потому, что подтверждали вековечное убеждение, что в Расеи (сибиряки всегда числили себя отдельно) жизнь беднее и несправдливее. Бурлаков на сибирских реках быть не могло, на них по природным условиям не бурлат, да и не сыщешь холопов, которых можно запрячь точно лошадей.

– А современные картины? – пытал Митяй. – Все эти портреты членов правительства, бравых сталеваров и румянощеких доярок?

– Хорошие портреты. Натуральные.

– Мама! Искусство должно развиваться, осваивать новые языки. Это как человек. Вот он ребенок, лопочет, потом говорит правильно, литературно, потом объем знаний требует выражаться по-особому. Сейчас! – вскочил Митяй. Достал из сумки лист и положил перед матерью. – Мне Игорь Львович подарил. Только посмотри, какая экспрессия в каждом штрихе!

Перед Марфой лежала серая картонка, облохмаченная по краям, с пятнами от грязных пальцев и от капель пролитого чая или кофе. Люди, нарисованные карандашом, то ли дерущиеся, то ли спорящие, то ли вытворяющие невесть что. Люди были в виде палок, кругов и черточек.

– Мама, ты видишь, видишь? – горячился Митяй. – Социалистический, а также критический реализм просто убиты одним этим этюдом.

– Кто рисовал-то?

– Художник погиб или эмигрировал, неизвестно. Но на тебя ведь произвело впечатление? Я две ночи не спал! Меня его мазок, то есть штрих, ума лишил.

– Побереги ум, сынка. Честно тебе скажу, мне «Бурлаки на Волге» милее и понятнее. Что до того, будто художество как человек... Родился безмолвным, потом лопочет, каша во рту, потом отдельные слова, к школе уж почти не картавит и не пришепётывает, после пятого класса слова умные проскакивают, а дальше, если образование получит, и вовсе не угонишься с понятием. Только ведь в конце он умирает.

– Кто?

– Человек, любой человек. Конец известен и другого не бывает. Зачем искусство, которое сгинет? Поперву, сынка, научись рисовать как... этот, с «Бурлаками»...

– Репин.

– А потом уж свои языки придумывай.

Она видела много работ сына, поражалась, как точно он улавливает сходство в портретах. Угольком или простым карандашом малевал, а Петр как живой,

лыбится, но идиотом не кажется, даже каким-то умным и значительным, вроде чемпиона по шахматам. На Степки портреты глянешь, так и хочется спросить: «Что эта шельма еще натворил?» Собственные портреты Марфа оценить не могла, только умилялась до слез – сына ее запечатлел. Но чаще всего Митяй рисовал Настеньку. Разную – дурашливую, хитро-лукавую, обиженную, с кулачками во рту, даже летящую по небу навроде чудной птицы.

Марфа тихо вздохнула: конечно, не о такой жене для сына она мечтала. Чтоб ростом была повыше, костью пошире, в бедрах раздольнее, с грудью наливной, а не с прыщиками вместо сисек. Но такую уж себе Митяй выбрал судьбу. В пять лет выбрал, Насте тогда семь было. Увидел ее и присох навечно. Они-то, взрослые, тогда посмеивались над их детской привязанностью, да только никуда она с годами не делась. Однолюб Митяй. Их даже во дворе не дразнили «тили-тили тесто, жених и невеста», а вздумай кто-нибудь обидеть Настеньку – Митяй живо голову скрутит. У него не руки, а лапищи. А однажды на спор арбузы плющил. С двух сторон хряснет – арбуз в кашу. За тот спор ему от матери досталось полотенцем по шее. Арбузы не яблоки из сада ворованные, они денег стоят.

Настя год назад школу окончила, в консерваторию поступала, да провалилась. Пристроили музыкальным работником во Дворец пионеров. Тунеядство, это если ты бездетная и не на производстве, – статья, посадить могут. Вот теперь будет детная.

Хорошо, что Настя не полностью на мать походит, что-то и от отца взяла. Сметка практическая есть, интерес к хозяйству просматривается. Пирог несколько раз с Марфой пекла, щи варила. А кто Марфу в очереди за мануфактурой, обувью, одеждой сменяет? Опять-таки Настя, Митяй при ней, конечно. Стоять-то приходится по шесть часов. В продовольственном магазине быстрее очередь идет, в полтора-два часа можно уложиться.

«Да что я с младенцем не управлюсь, не подниму внучика?» – спросила себя Марфа с досадой.

Досада происходила от того, что время позднее, вставать скоро, а она думы думает. Повернулась на бок, лягнула пяткой мужа, чтобы храпел тише, и погрузилась в сон.

Омская область. Село Погорелово

Хрупкая, невысокая по сибирским меркам женщина сидела перед директором школы и учительницей – молодыми педагогами, присланными в Погорелово два года назад. Июнь, разгар страды, Прасковья Порфирьевна Медведева, единственная из родителей, пришла узнать, как сын окончил пятый класс. Она и после каждой четверти навещалась. Других родителей в школу не заманишь: получают вызов – розгами пониже спины отстегают сына и велят: «Скажи учительнице, что тебя уже наказали». По их логике раз вызывали, значит, проказничал и заслуживает порки. Какие у него оценки, родителей не волновало. Прасковья Порфирьевна – исключение, из-за каждой тройки или четверки расстраивалась.

– По итогам года, – говорила учительница, – у Егора только по русскому языку четверка, остальные пятерки. Вот, посмотрите его диктант.

Прасковья была грамотной, но быстро читать не умела, разобрать каракули сына с ходу не могла. Сосредоточилась на предложении, в котором Егорша сделал три ошибки, исправленные красным карандашом. «Солнце садилось за лес». Егорша написал: «Слонце содилась за лес». А дальше ни одной помарочки. Опять мечтал! С ним так бывало: делает домашнее задание и вдруг замрет, кончик карандаша грызет, смотрит мечтательно – где-то мыслями витает. Окликнешь его: «Сынка! Трудись!» – посмотрит сквозь тебя, голову опустит, начнет писать и обязательно ошибок наляпает.

Учительница и директор хвалили Егора, говорили, что он способный и ответственный.

– Так-то оно так, – кивала Прасковья. – Однако ж «слонце». Наделает ошибок глупых, в институт не поступит.

Педагоги незаметно переглянулись. До окончания семилетки Егору Медведеву еще два года. Обучение в старших, восьмом, девятом, десятом классах платное, не говоря уж про техникумы или институты. Откуда у бедной колхозницы возьмутся средства? Кроме того, Егор Медведев – сын расстрелянного в тридцать седьмом году врага народа и происходит из семьи кулаков. Какой уж тут институт. Если не останется в колхозе, то ему один путь – в ремесленное

училище или в фабрично-заводскую школу, после которых обязан четыре года отработать на предприятии, плюс армия, срочная служба.

- Список литературы на лето? – спросила Прасковья Порфирьевна.

- Есть у него список, – улыбнулась учительница. – Только все произведения им давно прочитаны, как и большинство книг из школьной библиотеки да и нашей личной.

- Книги... они ведь развивают?

- Очень развивают, – заверил директор.

Педагоги вышли на крыльцо проводить уникальную родительницу. Несколько минут смотрели ей вслед. Прасковье Порфирьевне до дальнего стана, где пахали, идти часа три, если не случится оказия, не подвезет кто-нибудь. Стремление этой женщины дать высшее образование сыну вызывало уважение, но было неосуществимо и бессмысленно.

Прасковья шла и легонько поглаживала висевший на шнурке рядом с крестиком льняной мешочек. В нем покоилась переданная из тюрьмы предсмертная записка мужа: «Кланяюсь. Простите. Скажите Парасе, пусть постарается детям образование дать». Напутствие Степана она выполнит любой ценой, не глядя на «слонце».

Собрать денег и оплатить учебу в старших классах Егорши она действительно не могла. Колхозникам зарплат не платили, выдавали продуктами на трудодни. Того, что удавалось выручить, продавая на городском рынке собственные молочные продукты, ягоды, битую птицу, не хватало на одежду, обувь, посуду, сельхозорудия, не говоря уж про чай и сахар. Да и здоровьем крепким Парася никогда не отличалась, не то что двужильная Марфа. Но именно на Марфу, любимую сестричку, надеялась Парася. Они, жены родных братьев, называли себя сестричками в тайне от суровой свекрови Анфисы Ивановны еще когда жили в родовом доме Медведевых в счастливые времена молодости. Да и Нюраня, сестра убитого Степана и живого Петра, поможет. В двадцать девятом году Нюраня бежала от раскулачивания в Расею, зацепилась в Курске, удачно замуж вышла и воплотила свою мечту – выучилась на врача. Нюраня, ныне Анна

Еремеевна Пирогова, время от времени присылала деньги и писала, чтобы Парася насчет трат на обучение не беспокоилась.

У Параси было трое детей. Старший, Васятка, уже должен оканчивать школу. Парася ничего не знала о большаке уже четыре года. Васятку увезла на воспитание, умыкнула семья бухгалтера Фролова из коммуны, которой руководил Степан. Только его заарестовали, Фроловы манатки собрали, Васятку подхватили и сгнули на просторах Расаи. Бездетные Фроловы очень привязались к смышленому Васятке и с детства с ним занимались разными предметами, даже иностранными языками. Так привязались, что украли. Парася только-только младшенькую Аннушку родила, в Омск помчалась мужа вызволять, в больницу с тяжелой грудницей попала... За ее спиной и в неведении и увезли в неизвестном направлении большака. Хоть бы одну весточку прислали! Парасе ничего не оставалось, как молиться за сына и надеяться, что ее слезные материнские мольбы дойдут до Бога.

Жизнь Параси после ареста и расстрела мужа разломилась как каравай. Одна часть осталась сладкой, сдобной – воспоминания. Другая краюха, сухая, черствая – проживаемое существование.

Прасковью с детства окружали вдовы: ее отец погиб в империалистическую войну с германцем, потом были революция, колчаковщина, Сибирское восстание – мужиков выкашивало, сиротило детей, подрубало корни. Выкричав, выплавав горе, замуравив его остатки в сердце, бабы находили в себе силы жить дальше. Им нужно было втройне работать, чтобы поднять детей. Смурная, печальная ты много не натрудишься – выест тебя изнутри кручина. Да и кому приятно постоянно видеть похоронную физиономию? Поэтому вдовы бывали веселы в праздники, интересничали с чужими мужиками, вдоволь сплетничали, обсуждая происшествия за соседскими заплотами и колхозные новости. Прасковья так не могла, но притворялась, что может. Заставляла себя улыбаться в ответ на шутку, делала вид, что внимательно слушает бабы пересуды, мамино старческое ворчание, щебетание сестры, запутавшейся в женихах. Сначала притворство тяжело давалось, через несколько минут хотелось закричать, разрыдаться, биться головой о стену: «Как вы можете нести чепуху, когда Степан умер! Когда его нет! И никогда боле не будет!» Потом свыклась держать прилюдно нужное настроение.

По общему мнению, Прасковья Медведева стала чуть блаженной. С другой стороны, она в юности была пуглива и стеснительна, выйдя замуж, расцвела, расщебеталась – как робкая птичка, вдруг запевшая в голос. Овдовев, Прасковья будто вернулась в свое природное состояние.

Ее мужа вспоминали часто. Степан Медведев был из тех мужиков, что по наружной стати, по благородству характера, а главное – по делам – надолго остаются в памяти народной. О его гибели говорили: гроза бьет по высокому дереву.

Степан родился в зажиточной семье, а революцию принял всем сердцем. Был председателем сельсовета и в контрах с родной матерью Анфисой Ивановной – домовитой кулачихой, гордой тиранкой – словом, очень выдающейся правильной женщиной. Отец Степана по другой, не крестьянской, части был славен, знаменитился ремеслами, особенно работой по дереву. Красивее дома Медведевых, сожженного Анфисой Ивановной в момент раскулачивания, не было во всей Сибири. Медведев Степан организовал сельхозкоммуну, слава о которой за несколько лет прогремела не только по Сибири, но и по всему СССР, доказав преимущества коллективного труда.

Почему-то эти преимущества, как уяснили сибиряки, очень прекрасно расцветали, когда во главе коммуны или колхоза стоял хозяин крепкого ума. А если председателя колхоза мамка в детстве с лавки уронила и у него звон в голове и в членах трепыхание, то никакого успешного преимущества не будет. Коротко говоря, как во всяком домовладении – есть или мудрый хозяин, или хвост собачий. Как у них там на фабриках городских, нам не ведомо, а у нас от посева до уборки сразу ясно становится.

Прасковья слушала, как восхваляют ее мужа, с застывшей улыбкой. Люди не могли догадываться, что значило для нее видеть Степана, утопать в его объятьях, принимать ласки, засыпать на его груди, рожать ему детей, хоронить не выживших, лелеять здоровых... Она в политике и в экономике колхозной никогда не разбиралась. Она истово любила Степана и, ответно, получала его любовь. Муж погиб, а ее любовь осталась. Это как жажда при абсолютной уверенности, что больше не найдешь чистой воды: не встретится ни родник, ни речушка. Русло широкой вольной реки, по которой ты радостно плыла, высохло, потрескалось, и бредешь ты по нему, спотыкаясь о коряво застывший мусор.

Прасковью подвез на телеге Максим Майданцев, бригадир. Его жена Акулина, баба вздорная, крикливая, любящая власть, была председателем их колхоза.

Максимка происходил из почетной сибирской семьи, погубленной событиями отечественной истории. У его бабки было пятеро сыновей – как на подбор гренадеров, тихого нрава и силищи невероятной. Всех в революцию, колчаковщину, в Сибирское восстание двадцать первого года поубивало, в том числе и деда, с которого сыны были чистыми слепками. Остались внук Максимка и две внучки – от сыновей, чьи жены успели понести и родить, и две невестки бездетные. Максим рос в бабьем царстве вечных склок, но вырос незабалованным и при достоинстве – как прежние Майданцевы. У него была большая любовь с Нюраней Медведевой, пожениться не успели. Спасая Нюраню от ссылки в страшный Васюган, девушку родные отослали в Расею, и Максим свою любовь потерял. Поначалу заяростился до крайности – банду организовал, чтобы раскулачников-чекистов изничтожить. Степан Медведев вовремя подхватился, пока мальчишки больших бед не наделали. Банду разогнал, а Максимку привез к ним в коммуну под личный присмотр. Парася и Степан за ним ходили, как за больным. Ведь парень-то был – заглядение! Настоящий сибирский могутный мужик из него мог выйти. Не получилось, стух Максимка.

Так редко бывало, чтобы мужик из-за бабы терял жизненный интерес, тем более что Максимка и Нюраня в пору своего жениховства были еще очень молоды и толком, то есть на опыте жизненных испытаний, познать друг друга не могли. Однако ж вынула Нюраня у Максимки сердце и увезла в дальние края. Стал он бессердечным, не в том смысле, что жестоким, озлобленным, а пустым душой, равнодушным. Тут его вдовая Акулина заметила, даром что старше парня была и детей уже имела, затащила в постель, уласкала до того, что вскоре от Максимки понесла. Сплетничали, что Парася их брак подстроила, потому как Акулину не любила и хотела с глаз долой из коммуны услать. Парася ведь тогда супругой главного руководителя была и про нее многое сочиняли. Не любила Акулину – правда, а что подстроила их брак – вранье. Акулина сама хоть под живого, хоть под мертвого подстроится. А когда объявила, что на сносях от Максимки, тут уж ни у него, ни у Медведевых вариантов не было.

Сколько лет прошло? Двенадцать, не меньше. Максимка телом возмужал, бороду отрастил, а духом так и не воскрес: глаза отрешенные, как у кандальника, который смирился с приговором на вечную каторгу и не ждет от жизни ничего радостного.

Они ехали по лесной дороге, Парася на телеге полулежала, Максимка правил лошадью, время от времени кренясь, уворачиваясь от веток. Говорили о колхозных делах, потом замолчали.

«Хочет про Нюраню спросить», – подумала Парася и сделала вид, что задремала. Не хотелось беречь старые раны.

Уловка не удалась. Максим кашлянул и попросил:

– О Нюране поведай.

– Дык, чего рассказывать? Все с божьей помощью: живет, работает, дочку воспитывает. Имя у той чудное – Клара.

– Исполнилась ее мечта, добилась Нюраня. Хотела доктором стать и стала.

– Она по женским болезням и родам врач.

– У тебя фотографии ее нет? Не присылала? Покажешь?

Фотография у Параси дома была. На ней Нюраня, настоящая городская дама, с мужем и дочкой. Супруг Нюранин Парасе не понравился – напыщенный, грудь колесом и живот заметный, как у лавочника. А девочка славненькая, с пышными бантиками на косичках.

– Ни к чему тебе, Максимка, на фотографии смотреть и сердце тревожить. Что было, то прошло, быльем заросло.

– Оно-то, конечно. Только, знаешь, Парасенька, иногда так подступит! Бросил бы все и рванул к ненаглядной. Что кумекаешь, приняла бы меня?

– Господь с тобой, Максимка! Куда тебе беспаспортному? Как тебе совесть позволит дезертирствовать, когда на тебе семья и детки?

– Да и кто я против Нюрани, – точно сам с собой говорил Максим. – Лапоть деревенский, а она с образованием, не на земле ковыряется, людей лечит.

Другому человеку Парася возразила бы, сказала, что для любви не высшее образование главное, а влечение сердца. Максиму же посоветовала:

– Выкинь из головы!

– Токма если ее отрезать.

«Ах ты, горемыка, – мысленно сокрушалась Парася. – Ему так же лихо, как мне, а может, и похуже. Моего Степана уже не вернешь, а он знает, что где-то ходит по земле его любовь и судьба. От капельки надежды на душе еще ядовитее, чем совсем без надежды. Нюраня, поди, совсем про Максимку забыла, ни в одном письме про него вопроса не спросила».

Они нагнали Юрку-скотника. Парася подвинулась, Юрка запрыгнул на телегу. Он был известным в селе балагуром и фантазером. Где Юрка, там смех и потеха. И сейчас он с ходу принялся веселить попутчиков.

– Обращаюсь к тебе, Максимка, как к начальству в чине бригадира. Непорядок у нас на ферме. Можно даже сказать трагедь с новыми телками в главных ролях фильма.

– Что такое? – откликнулся Максим.

– Не вяжутся телки, не идут под быка, брыкаются так, что доблестный Буян покрыт синяками, что твой африканский леопард.

Парася улыбнулась, Максим хмыкнул.

– Приезжал ветеринар из Омска, – продолжал Юрка. – Солидно коровам в рот заглядывал и трубочкой брюхо им прослушивал. Я, конечно, хотел спросить, рото при чем и брюхо? У них под хвостом причина гнездится, но умолчал. Хотя мне на личном опыте давно известно происхождение возмутительного брыкания новых телок.

– Какое же? – спросила Парася.

– Телок откуда брали? Из Тарасовки! Вот! Что вы недоумеваете? У меня жена из Тарасовки.

Максим и Парася вежливо хохотнули, а Юрка не унимался:

– Ветеринар тот нас просветил, что, мол, в будущем случка коровы с быком отойдет в прошлое как класс буржуазии. То есть коровы с быками останутся, но будут спариваться научно и в отдалении. Значит так: у быка шлангом и насосом откачивается семя. Максимка, я хотел бы посмотреть на того смельчака, что станет у Буяна откачивать! Далее коровы выстраиваются в ряд, как новобранцы на плацу, снимают штаны, то есть задирают юбки, в смысле – поднимают хвосты, и туда вводится... он так говорил: «вводится содержимое».

– Фу! – скривилась Парася. – Гадости какие!

– Да, честное партийное! – перекрестился Юрка. – Все доярки слышали, у них спроси. Меня, конечно, интересовало, кто коровам содержимое станет вливать. Если скотник, то я – пас! Меняю профессию, а то осеменителем прозовут, как того конопатого счетовода, что один раз по району проедет, а через девять месяцев бабы рыжих младенцев на свет производят. Ветеринар говорил: «Наука не стоит на месте, и проблема породистости скота будет решена». Меня взволновало, куда наука пойдет, не ровен час до людей доберется. Задаю ему конкретно-предметный вопрос. Да, отвечает, такое в принципе возможно и с людьми, потому что они млекопитающие. И вот тут, Парася, представилась мне картина до нервной дрожи страшная. Нас, мужиков, к насосам подключают. Армию возьми: роты, полки – это же тыщи солдат! И все – к насосам. Далее женщины. Они, конечно, просто так не дадутся. Но если соревнование организовать, мгновенно загорятся. Первыми семя получают ударницы с производства и колхозницы с наибольшим числом трудодней. Входят они в помещение, как библиотека, только на полочках не книги стоят, а скляночки с бирочками, как из аптеки. Ходят бабы вдоль полок и читают: «Гаврила Петров, кудрявый, чемпион по лыжам» или «Игнат Морозов, рост два метра, знатный тракторист». Ударницы, ясное дело, расхватывают всех кудрявых, двухметровых и знатных. Остальным бабам достанутся коротышки с дефектами.

– Насочинишь ты, Юрка, – хмыкнул Максим.

– Балабол. Хлебом не корми, дай лясы поточить, – сказала Парася.

– А что я? – развалился на телеге Юрка. – Представил вам научную перспективу будущего. Я и своей любезной Ольге Гавриловне со всей конкретностью заявляю: «Даром, что ты из Тарасовки, пользуйся живым супругом, пока не пришлось скляночками довольствоваться».

Парася подумала, что будь сейчас здесь Степан, он бы хохотал от души. Его смех, раскатистый и сильный, был как свежий ветер в жару – уносил потный морок, освежал. Степан и смеялся в голос, и громогласно кричал на нерадивых тружеников – не только у виновных, у слушателей коленки подгибались. Он все делал в полную силу, и мир, когда из него ушел Степан, ослабел, лишился части общей мужской силы, которая и есть опора мира.

Курск

– Анна Еремеевна! – заглянула в ординаторскую медсестра. – Миленькую доставили.

– Поймали? – спросила доктор, оторвавшись от историй болезни, которые заполняла после обхода.

– Сама пришла сдаваться. В третью палату ее положила.

– Хорошо, я к ней загляну.

«И что я буду делать с Миленькой?» – спросила себя Нюряня.

Двадцать лет назад в семье железнодорожников родилась девочка, которая как нельзя точно соответствовала родовой фамилии – Миленькая. Большущие глаза – распахнутые в удивлении, в ожидании чуда и радости, робкая улыбка не сходит с лица – будто ребенок хочет сделать тебе подарок, но стесняется. Таня Миленькая летом любила собирать цветы и дарила всем букетики, а зимой делала букетики из бумаги. Если Таня видела, что кто-то грустен, печален, хмур, устал, она несла букетик: «Возьмите цветочки!» Она не была умственно отсталой, но из-за своей небесной доброты производила впечатление блаженной. Все бы славно, но у этого ангелоподобного существа имелся

врожденный порок сердца. Отчасти поэтому и выразительные глаза на худеньком, бледном до серости личике. Плюс синюшные губы и постоянная одышка. Таня Миленьякая не должна была прожить и до десяти лет, однако, не иначе, как молитвами всех тех, кого наивно утешала, не умерла, выросла в девушку – слабую, хрупкую, но вполне сформировавшуюся. И даже вышла замуж за славного парня.

Нюраня, она же доктор Анна Еремеевна Пирогова, познакомилась с Таней, носившей фамилию мужа, но всеми по-прежнему величавшейся Миленьякой, когда перепуганные родители привели ее в больницу. Таня Миленьякая была беременной. Вариантов не существовало. Анна Еремеевна сделала операцию выскабливания, то бишь аборт, и вызвала для разговора мужа Тани, которому в жутких красках обрисовала картину мучительной гибели его жены и недоразвившегося ребенка, озвучила советы по предохранению от беременности. Славный парень прибежал через полгода: Таня опять на сносях. Таня пряталась в кустах за городом, где ее отловила специально организованная команда, точно диверсантку. Снова чистка. После операции Нюраня орала на Миленьякую и ее мужа так, что сбежались все ходячие пациентки. Было на что посмотреть: доктор Пирогова совала в руки мужа Тани скальпель и кричала: «Убей ее прямо сейчас!»

За устроенное представление Нюране объявили выговор по больнице. Тем более обидный, что Таня снова всех перехитрила.

Рожениц и гинекологически больных женщин было много, очень много – не затихающий поток. Пожилые и молодые, красавицы и дурнушки, утомленно многодетные и горестно бесплодные, те, кто рвался из больницы поскорее домой, и те, кто сочинял себе недуги – лишь бы понежиться в безделье на казенных харчах. Долг врача ко всем относиться одинаково, симпатий и антипатий Нюраня себе не позволяла, с пациентками держалась ровно и строго, как бы давая понять: я здесь царь, бог и воинский начальник, слушаться меня беспрекословно. Девяносто пять процентов ее пациенток были невежественными суеверными бабами, строгий окрик на них действовал гораздо эффективнее задушевной беседы. Миленьякая входила в эти проценты, но была в ней распахнутость, открытость нежной души, которая не могла оставить Нюраню равнодушной.

«Господи! – думала Нюраня по пути в палату. – Зачем ты послал страшные испытания этой блаженной? Наверное, потому и послал, что святость

испытывал. Марфа когда-то рассказывала, что все святые были большими мучениками».

Миленькая сидела на кровати, болтала худенькими ножками. При виде доктора хотела встать, но Нюраня махнула ей: сиди! Взяла табуретку, поставила напротив, уселась, сложила руки на груди.

- Анна Еремеевна, - не выдержала молчания Таня. - Простите! Христом богом! Никто-никто не виноват! Я говорила, что кушаю хорошо и поправляюсь.

- Давно поправляешься?

- Уж полгода или дольше.

Только слепой мог подумать, что Таня набирает вес. Ножки-ручки тоненькие, ключицы выпирают, личико - кожа да кости. И большой живот.

«Роды она не перенесет, - рассуждала Нюраня. - От первой же сильной потуги ее сердце лопнет. Операция кесарева сечения, наркоз тоже опасны. И что делать? Оставить ее, наблюдать как подопытного кролика?»

- Вот вам! - Таня вынула из-за спины букетик мать-и-мачехи. - Первые цветочки.

- Спасибо! - процедила Анна Еремеевна, но руки за букетиком не протянула.

Глаза Тани наполнились слезами. И без того огромные, серо-голубые, за водяной линзой они стали щемяще трогательными. Такие глаза и крокодила могут заставить пасть захлопнуть.

- Ложись, я тебя посмотрю, - велела доктор. - И не хлюпать! Утри нос.

Она достала из кармана сантиметр и измерила живот вдоль тела и поперек. Верных двадцать шесть - двадцать восемь недель. Уже кое-что. Послушала сердцебиение плода - в норме. Потом послушала сердце самой Тани. Это не ритмы! Это дробь пьяного барабанщика.

- Анна Еремеевна! Я очень-очень ребеночка хочу!

– Знаю, не мешай, замолкни.

Доктор потрянула ладонями, будто сбрасывала с них мусор, потерла их друг о дружку. Затем, чуть растопырив пальцы, медленно провела руками по лежащей Тане – от головы до пяток.

Выпрямилась, строго и хмуро произнесла:

– Сегодня тебя подготовят, а завтра мы сделаем операцию.

И вышла из палаты.

Нюране передался от бабушки и матери дар – предчувствовать выздоровление или смерть. Нюраня этот дар ненавидела. Она жила в век материализма, была человеком науки. Ее задача как коммунистки и прогрессивного врача заключалась в борьбе с мракобесием – приметами, вредными «народными» рецептами и прочей отсталостью. Предчувствия объяснить научно невозможно, поэтому они вредны и пагубны, следует их давить. Но давить не всегда получалось, ведь это как ручей руками перегородить. Мать Нюрани, когда ту звали больного посмотреть, если предчувствовала смерть человека, крестилась и старалась поскорей уйти: «Бог поможет». Нюраня, напротив, если вспыхнет внутри «не жилец» – утраивала силы по спасению пациента. И несколько раз ей почти удалось добиться успеха.

С Миленькой она впервые сознательно пошла на «магнетическую диагностику», поэтому злилась на себя, не хотела, чтобы пациентка увидела ее хмурое лицо, спешно покинула палату. Между тем внутренний голос заверил в благоприятном исходе. Это был даже не голос, а вспыхнувшее в мозгу знание-утверждение. Будь голос, то он, наверное, прохрипел бы как больничный сторож дед Кондрат: «Не дрейфь, кошелка, разродисси!» Дед Кондрат рожениц, привозимых ночью, именно так приветствовал, а всех женщин называл почему-то кошелками.

Однако быстрый уход доктора не остался незамеченным. Примчалась санитарка:

– Анна Еремеевна! Так Миленькая ревет, убивается – страсть!

Нюраня мысленно чертыхнулась и поспешила в палату.

Таня лежала на боку, скрючившись, обхватив живот, точно это был бесценный клад, который варнаки отнять хотят. И плакала не «страсть», а жалобно скулила.

- Что происходит?! - рявкнула Анна Еремеевна.

- Ба-ба-бабы говорят, - заикалась Миленькая, - что вы ребеночка на куски порежете и вы-вы-вытащите...

- А они не говорят, - развернулась Нюраня и гневно уставилась на лежащих на кроватях четверых других пациенток, которые мгновенно натянули одеяла на головы, - что я потом его зажарю и съем? Не говорят? - повторила она вопрос Миленькой.

- Не-е-е...

- И на том спасибо! Быстро успокоилась! Легла свободно, расслабилась.

- Как это?

- Ноги-руки мягкие, не деревянные. Ты зачем своего ребеночка пугаешь? Он ведь все чувствует! Хороша мать, дитятку стращает! Вот так, хорошо, - поглаживала ее доктор, - расслабилась, умная девочка! Слушай меня, Танюша, завтра мы тебе сделаем операцию.

- Ой!

- Не «ой», а наш единственный шанс, ждать нельзя. Ты будешь спать, а вот тут, по животу мы тихонечко разрежем, достанем ребенка и аккуратненько снова зашьем, ты ничего не почувствуешь. И вообще, отныне ты не о себе должна кручиниться. Ребенок будет маленьким, очень маленьким, недоношенным. Но это не страшно. Был такой ученый, Менделеев, он периодическую систему... Впрочем, фамилия Менделеев тебе ничего не говорит. Чапаев! Ты смотрела фильм «Чапаев»?

- Пять раз.

– Могу тебе доложить, что красный командир родился недоношенным, весу цыплячьего, семимесячным, точь как и твой ребенок. Повитухи у Чапая были опытными, держали ребенка в варежке и на опаре. Мы, конечно, до подобной экзотики не дойдем, но для малыша надо будет соорудить специальную кроватку, обкладывать теплыми грелками, замотанными в пеленки, следить за температурой. Придется потрудиться и тебе, и твоему мужу-разгильдю. Поняла, о чем сейчас надо думать? Как выходить своего единственного ребенка, других у тебя не будет – это я тебе заявляю авторитетно.

– Все сделаю, как вы скажите, Анна Еремеевна! Жизнь положу!

– Перспектива весьма вероятная. И где мой букетик? Я взять забыла, а ты уж, наверное, кому-то другому его подарила?

– Да нет же! Вот он, привял только.

– Ничего, в воду поставлю – оживет. Полевые цветы неприхотливы, как и крестьянские дети.

Нюраня ей хитро подмигнула, на секунду сбросив маску строгой докторши, и Таня от неожиданности радостно всхлипнула и рассмеялась. Ее смех напоминал рождественский звон бубенцов.

Домой Нюраня пришла поздно. Пятилетняя Клара тут же вцепилась в мать: «Поиграй со мной хоть чуточку, послушай, что сегодня было!» Нюраня уделила ей десять минут: «Мне некогда, няня тебя уложит». Емельян, муж, тоже хотел поделиться новостями, чинно посидеть с женой за чаем. Нюраня сказала, что ей надо подготовиться к завтрашней сложной операции, уселась за стол, уткнулась в книги. Все новости Емельяна сводились к тому, что еще удалось приобрести, урвать, принести в дом. Емельян по званию был сержантом НКВД, по должности – завхозом, по уму, знаниям – бревном, по складу характера – крохобор-мещанин. Их дом был завален барахлом, заставлен мебелью, завешан коврами. Две швейных машинки, к которым Нюраня не притрагивалась, патефон и большой набор пластинок, которые никогда не слушали, бархатные шторы с бахромой на окнах и в проемах дверей между комнатами, кружевные салфетки куда ни кинь взгляд, атласные покрывала на их постели и на дочкиной кроватке, пирамиды взбитых подушек с накидками... Книги тоже были – Емельян их

выбирал по цвету корешков, предпочитая золотое тиснение, ни одной не прочитал. Единственное место в квартире, где царил беспорядок: груды медицинских справочников, атласов, энциклопедий, тетрадей и папок с записями – письменный стол Нюрани, к которому она никому не разрешала приближаться.

Нюраня была плохой женой и скверной матерью. Она специально засиживалась за письменным столом, чтобы избежать супружеской близости, шла спать, когда Емельян уже храпел. Бывали дни, когда Нюраня на работе принимала до полутора десятка младенцев: палаты переполнены, рожениц клали на кровати в коридоре, а когда кроватей уже не оставалось, бросали матрасы на пол. Нюраня за каждую пациентку и новорожденного была готова горы свернуть, и времени на них не жалела. А на собственную дочку жалела. Клара росла избалованной, своенравной владычицей. Домработница, няня и отец плясали под ее дудочку, только мать имела власть над ребенком, но мать пропадала на работе.

Емельян хотел еще ребенка, но не настаивал. Жена для него была предметом гордости, как прочая обстановка квартиры. «От него? Никогда!» – давно решила Нюраня. Нельзя рожать от мужчины, которого не уважаешь, даже если ты свое неуважение маскируешь за скудной вежливой приветливостью.

«А если бы от Максимки?» – спросила себя Нюраня. Оторвалась от книги, в которой искала описание родовспоможений женщин с пороками сердца, замерла, уставилась в настольную лампу, свет которой жег глаза как маленькое солнце.

«От Максимки я рожала бы безостановочно, как крольчиха. Так, наверное, сейчас и поступает его жена. Приходится допустить, что для одних женщин не важен отец их ребенка – биологический зов сильнее. Для других, вроде меня, селекционный выбор становится основным. Моя мама выбрала моего папу как отца своих детей. Других претендентов она бы порезала на кусочки, зажарила и съела, то есть поедом извела. С папой так невозможно было поступить, поэтому от него и рожала. Прасковье со Степаном чудно повезло. А Марфе достался мой придурковатый братец Петя, и она, не рассуждая и не гневя судьбу, родила от него двух прекрасных парней. Что же я? Как женщина – ничто. Хотя врать-то себе не надо! Нравится, когда засматриваются, комплименты отпускают, и томление женское одолевает. Ласки хрюкающего пузана Емельяна – только терпение, раз-два в месяц, более не выдержать, и обязательно в тот период, когда точно не понесу. Но слово-то Емельяну дала? Дала! Была сделка? Была. Он

мне – образование врача, я ему – верность. Вот и нечего Максимку вспоминать и видеть его в каждом прохожем!»

Глаза от яркого света заслезились. Нюраня опустила колпак лампы пониже, вернулась к чтению. Есть один случай, описана операция кесарева сечения, но ни черта не сказано, как поддерживали хилое сердце пациентки. Значит, надо придумать самой. Допустим, что это любая полостная операция у пациента с врожденным пороком. Надо найти. Нюраня потянулась к другим книгам, не обращая внимания на тома, что свалились на пол, у них там должны быть дозы препаратов камфоры, кратность введения...

Операция прошла благополучно. Ребенок, мальчик, крохотный, вес чуть больше килограмма, дышал самостоятельно, не кричал, но попискивал. Его поместили в коробку, внутри обложенную ватой, между ватой и стенками коробки – грелки, за температурой которых следили, постоянно меняли. Таня очнулась после наркоза и держалась молодцом, Анна Еремеевна навещала Миленьку каждый час.

Нюраня совершенно забыла, что обещала мужу пойти с ним сегодня в театр. Емельян ждал ее дома, позвонил в роддом, когда время совсем поджимало. Нюране театр был сейчас не в удовольствии, но Емельян еще две недели назад просил не брать в этот день дежурства. «Заезжай за мной», – сказала ему по телефону Нюраня и подумала, что после театра обязательно вернется в клинику, проведет здесь ночь. Первые сутки – самые опасные.

Всю дорогу в машине Емельян бурчал, что Нюраня одета в простой костюм, между тем как у нее имеется шикарное платье, скопированное модисткой с наряда Любви Орловой из фильма «Светлый путь».

– Ты мне еще черно-бурую лису на плечи накинь, – не удержалась от упрека Нюраня.

– И накинула бы! Таких в городе раз-два и обчелся.

– Ага, летом при лисе – самое время!

Нюраня терпеть не могла эту мещанскую лису: длинная спинка великолепного серебристого меха, с одного конца узкая мордочка с искусственными глазками, с другого – роскошный хвост. Лиса набрасывалась на плечи вроде шали или палантина. При лисе Нюраня выглядела как нэпманша. Разрешала дочери играть с этой дохлой зверюгой, а Емельян, если видел в руках Клары лису, приходил в негодование: дорогая вещь, не игрушка!

Ленинград

Приехав из Омска в тридцать седьмом году, Камышины и Медведевы поселились на Крестовском острове. Его жители были почти селянами, хотя большинство работало на питерских предприятиях. Всего десять минут на трамвае до Петроградской стороны, а на Крестовском сохранились деревянные дома с палисадниками, огородами и пастбищем. Коровы, поросята, козы, куры... В небе кружат голуби – взмывают то из одной голубятни, то из другой, похожие на маленьких перепуганных ангелов, вырвавшихся из неволи, опьяненных свободой и устранившихся ее. Весной на набережной Малой Невки рыбаки прямо с лодок продавали корюшку. По острову плывет дурманящий запах, чуть напоминающий арбузы и огурцы. Животы подводит, в рот набирается слюна – хочется скорее отведать корюшки. Свежая, обвалянная в муке и обжаренная в кипящем масле, она съедается со скоростью лузгания семечек, и ничто по вкусу не может сравниться с корюшкой.

Для Марфы переезд в Ленинград оказался не таким помрочительным, как из деревни в Омск, где она впервые увидела автомобили, электрические лампочки и унитазы. Тогда ее мутило от множества незнакомых предметов и вещей, от многолюдия, шума и пыли. На Крестовском же оказалось почти как в деревне. Конечно, есть тут большие каменные дореволюционные дома, но немного, есть красивый дворец Белосельско-Белозерских, гребной клуб, стадион «Динамо», на соседнем Елагином острове Центральный парк культуры и отдыха – ЦПКиО, ласково называемый ленинградцами Ципочка.

Сонный и тихий Крестовский только летом да в теплую погоду весной и осенью, по выходным, наполнялся людьми. Они, как муравьи к огрызку медовой коврижки, текли по Морскому, Константиновскому или проспектам. В дни

футбольных матчей сначала к стадиону «Динамо» – муравьи деловые, торопящиеся, через несколько часов обратно – хмельные, расхлябанные, шумные, насытившиеся.

В теплые воскресенья ленинградцы приезжали в Ципочку отдохнуть. «На пикники» – так это называла Елена Григорьевна. Расстелют на травке одеяло, в центр газетку положат, на нее снедь – яйца вкрутую, колбасу, селедку, помидоры, огурцы свежие и малосольные, лучок зеленый перышками, курицу вареную, картошку укропчиком посыпанную в катышках сливочного масла, банку килечки в томатном соусе откроют, соль в спичечных коробках поставят. Водка, конечно, тут же, отбивается сургуч с горлышка, а для детей – ситро, шипучий фруктовый напиток в бутылках.

В Марфином сибирском селе народ тоже, бывало, собирался на еду под открытым небом. Когда были «помочи» – общий труд селян в поддержание лишенцев, то есть семей, потерявших кормильцев. Вдовы детные, стариками обремененные не могли сами сколько нужно вспахать, собрать урожай, накосить сена – обеспечить на долгую сибирскую зиму. Им помогали всем селом. После работы было благодарственное угощение. Как бы лишенцами предоставленное, а на самом деле бабы с достатком свое несли, не разорять же несчастных, с них только самогон да сладкий взвар. Холстами застилали часть луга, не на газетках, а на чистых тряпицах раскладывали пироги множественных начинок, куски тушеного мяса, рыбу копченую, рыбу припущенную... А чтоб картоху или яйца вкрутую принести? Себя позорить.

Главное – в Сибири все угощались за одним общим, громадным «столом». Ведь понятно, что такую компанию ни в каком доме не уместить.

Ленинградцы же отдыхали лоскутно: под одним деревом одеяло, газетка, закуски, водка, ситро – семья или компания гуляет, десять метров подале – другое одеяло, газетка, водка, килька в томатном соусе... Издали посмотришь – табор единоличников приземлился.

Но потом Марфа увидела, где живут «пикники», как она назвала воскресных гостей «нашенского острова», съездила в город, в большой Ленинград. Не допросишься иголок швейных купить да ниток. Соседки утверждали, что все можно найти в Гостином дворе или, на худой конец, на толкучке у Апраксина двора. Найти легко, в самом центре. Как же, легко!

Заблудилась, в ад попала. Каменные соты! Ни деревца, ни травинки, ни солнца, ни неба! Людей превратили в насекомых. Сама не помнила, как выбралась. И с тех пор взирала на «пикников» жалостливо благосклонно. Пусть хоть изредка подышат, детишки их на воле побегают.

Сама Марфа на вторую весну их пребывания в Ленинграде развела на Крестовском огороде. Покупать картошку, лук, морковь, свеклу, капусту, редьку, когда их можно вырастить? Это настолько противоречило ее миропониманию, что Марфа заболела бы, не взвали на себя еще одну обузу. Петр не переработался в своей котельной, пусть губы подберет – раскатал между сменами на рыбалку шастать, уж объелись его рыбой и всех соседей закармлили, на огороде потрудится, да и Митяю весной и осенью лопатой, граблями поработать – полезный спорт. Возникла проблема: где хранить урожай? Договорилась с хозяйкой одного из дворов на аренду части погреба. У хозяйки-то: куры, коза и самое завидное – корова.

В середине тридцатых годов на Крестовском острове возвели жилой комплекс – строчная застройка вдоль Морского проспекта. Строчная, потому что четырехэтажные дома с коридорной системой стояли торцами к проспекту, как стежки на шитье. Это было сделано для того, чтобы один дом (их все называли корпусами) не затенял другой, и в каждой квартире было достаточно солнца. Расстояние между корпусами было большое – легко помещался детский садик или футбольное поле, теннисный корт, котельная.

Входишь в любое из трех парадных, поднимаешься по лестнице на нужный тебе этаж и оказываешься в длинном стометровом коридоре, по сторонам которого расположены квартиры и общие кухни. Дети гоняют по коридору на велосипедах, на самокатах или просто носятся, в догонялки играют. Выражение «у нас на коридоре» для жильцов корпусов звучит так же, как для деревенских – «у нас в селе».

Для поддержания порядка и чистоты коридор поделили на секции: от лестницы до лестницы, от крайней лестницы до торца. Мыть весь коридор и все кухни – это сдохнуть. Моют по очереди, по неделе на каждого члена семьи. Марфа мыла чаще других – их четверо, да трое Камышиных – получается семь недель. Тайком от Александра Павловича еще мыла за докторшу Веру Павловну и ее мужа – хмурого бухгалтера с завода «Электроаппарат», за семью эстонцев, которые совершенно не участвовали в жизни коридора, готовили еду на примусе у себя в

квартире, здоровались сквозь зубы, глаза в пол. За что и получили прозвище «дундуки чухляндские».

Если бы Камышин узнал, что Марфа на кого-то батрачит, пришел бы в ярость. Для нее же было очевидным: если можешь заработать копейку, так заработай! А тут не копейка, а три рубля за неделю! Докторша и чухляндцы – это двенадцать рублей! Дурой быть – разбрасываться. Тем более что не всегда сама горбатилась. Митяй, если не у художника, не на соревнованиях или других занятиях, обязательно помогал. Тряпкой-шваброй орудовал безо всякого смущения. А Степка – ведра таскать, воду менять – это уж без разговоров, только попробовал бы отвертеться, у матери рука тяжелая.

Квартиры в корпусах по четной стороне Морского проспекта задумывались как общежития для рабочих с предприятий, расположенных на Петроградской стороне. По нечетной стороне шли корпуса с отдельными квартирами для инженерно-технического состава питерских фабрик и заводов, творческой и академической интеллигенции ранга выше среднего. Александр Павлович Камышин по занимаемой должности мог получить просторную трехкомнатную квартиру в корпусах по нечетной стороне Морского. Но семейство Медведевых: Петр – кочегар в котельной, обслуживающей корпуса, на подобное жилье претендовать никак не могло. А это означало, что Марфу и сына Камышин видел бы крайне редко, ведь приходилось работать по двенадцать часов в сутки. Поэтому он выбрал общежитие, четные корпуса.

В суматохе нервных интриг, оголтелой борьбе страстей, которые сопровождали выделение отдельного жилья в перенаселенном городе, решение Камышина не показалось странным. Его соседями в двадцать втором корпусе оказались не только семьи передовых рабочих, которых было большинство, но и интеллигенция средней руки. Интеллигенция, как водится, притухла под напором пролетарского натиска гегемона.

Квартирка Камышиных: крохотная прихожая, справа сортир, через стенку от него – закуток странной конфигурации, площадью два на метр с раковиной и краном холодной воды. Марфа называла его кутью, там в настенных шкафах, на антресолях, которые она настроила под потолком, содержались утварь, сезонная одежда и прочие вещи, которые Марфа хранила, потому что выбрасывать что-либо понятия не имела. Две отдельные комнаты – большая восемнадцать метров, меньшая – одиннадцать. В большой жили Камышин и

дочь, маленькая – будуар, святилище Елены Григорьевны. В большой комнате передвигаться можно было только вокруг стола в центре, остальное пространство заставлено мебелью: диваном, на котором спал Александр Павлович, книжным и платяным шкафом, буфетом, Настиным пианино, ее же кушеткой и этажеркой. У Елены Григорьевны тоже было тесно: деревянная кровать с пышной периной, якобы супружеская, но Камышин на нее никогда не наведывался, отгорожена ширмой, бюро, служившее туалетным столиком, над ним зеркало в пышной раме, два стула с гнутыми ножками и кресло, в котором Елена Григорьевна проводила большую часть времени. Еще один столик, даже самый маленький, втиснуть было невозможно, поэтому, когда Елена Григорьевна принимала гостей, не больше двух, Марфа застилала бюро ажурной салфеткой, на которой накрывала чай, ставила угощение.

В квартире Медведевых были те же сортир, куть, раковина, но комната только одна, четырнадцатиметровая. Марфа с мужем спали на кровати, а сыновья на полу, каждый вечер расстилали тюфячок, утром убирали. Еще из обстановки – стол, стулья, швейная машинка, сундук, книжные полки, сколоченные Петром из обструганных досок.

Куть, как и в деревенском доме, была местом, где Марфа толкалась почти целый день. Ставила тесто, шинковала продукты, чтобы потом сварить щи на общей кухне, чистила рыбу, лепила пельмени, стирала белье. Но в деревенском доме не было подвода воды, тут – пожалуйста. Благодать. Где есть вода, там грязи и грязных не бывает. Марфа бдительно следила, чтобы ее мужики вымыли ноги на ночь. Они по очереди задирали ноги в раковину и мыли их студеной водой с мылом. С хозяйственным, не смей туалетное земляничное трогать! А вытираться тряпкой, что для бестолковых на гвоздике внизу подвешена! Не хватать полотенце, что на гвоздике повыше, оно для лица!

Мыться ходили в баню на Разночинной. По выходным дням по улицам Ленинграда, большинство жителей которого ванн не имело, текли мини-демонстрации – народ шел в бани. У многих в руках шайки и березовые веники. Потому что было две очереди – для бесшаечных, часа на три, и для тех, кто со своими шайками – часа на полтора.

Петр, Александр Павлович и мальчики мылись в общем мужском зале, при котором была парилка. Марфа, Елена Григорьевна и Настя – в семейном отделении, представлявшем собой помещения с комнатой для раздевания и собственно ванной комнатой. Первым делом Марфа драила со щелоком корыто

ванной – неизвестно, какой вшивый тут до них мылся, а уборщицам, что после каждого посетителя обязаны порядок наводить, доверия нет. Потом в чистую ванну, наполненную водой, Елена Григорьевна из флакона с духами добавляла несколько капель, забиралась сама, нежилась несколько минут, мурлыкая, манила пальчиком дочь. Настя присоединялась. Марфа сидела напротив на лавке, любовалась ими. Точно две сестрички – беленькие, хрупкие, нежные, шаловливые. Елена Григорьевна мало внимания уделяла дочери, и Марфа видела, как радуется Настенька этим моментам – когда они с мамой нагие, беззащитные, но очень веселые, в ароматной воде. Однако времени нежиться не было: сеанс длился сорок минут, за десять минут до его окончания уборщица принималась тарабанить в дверь, поторапливать. Марфа вставала, подходила и начинала их мыть намыленной вихоткой, как она по-сибирски называла мочалку, сначала мать, потом дочь, быстро, ловко и тщательно. Сама Марфа мылась последней, Елена Григорьевна и Настя вытирались и надевали белье. В комбинашках поверх трусов и лифчиков они возвращались к Марфе, стоявшей на четвереньках в ванной и принимались специальной, жесткой как щетина вехоткой, в четыре руки драить Марфе спину. Это был единственный акт их прямого участия, заботы о Марфе, других она не допускала, да никто и не стремился. Но уж очень Марфа любила настоящую баню. По своей воле ходила бы в женское отделение с парилкой. Отпустить же Елену Григорьевну и Настю одних и думать было нечего. А привести Елену Григорьевну – с шайкой, к трем десяткам голых баб – все равно, что птичку певчую из клетки вытащить и бросить в курятник, от нее и перышка потом не найдешь. За годы жизни в Ленинграде Марфа бывала в парилке всего несколько раз – когда барыня отдыхала в Крыму.

Разговор с Камышиными состоялся в банный день после обеда. Марфа накрыла чай и, опустив руки по швам, проговорила смущенно:

– Обсудить надо.

– Что? – поднял голову от газеты Александр Павлович.

Произнести слово «сватовство» Марфа не решалась.

– Дык сдаваться мы пришли, – и, повернув голову к двери, крикнула: – Митяй, заходи!

Он давно стоял за дверью, в коридоре, ожидая сигнала. Мать очень нервничала, ее волнение передавалось Митяю, хотя они с Настей уже все обсудили и решили: если родители поднимут вой, собирают вещи и уходят из дома.

- Приятного аппетита! - с порога начал Дмитрий. Его не успели поблагодарить, как он выпалил: - Прошу руки вашей дочери! Она беременная, я ее люблю, и она меня любит.

- Кто беременный? - глупо переспросил Камышин.

- Я-а-а, - пропищала Настя.

Камышин начал наливать багровой краской. Елена Григорьевна прикурила папиросу. Марфа испугалась. Она была воспитана в почтительности, беспрекословном уважении к старшему мужчине в доме. И то, что этот мужчина по пьяни, бывало, зажимал ее в углу, никакого подрыва его авторитету не наносило и не значило, что можно схалтурить и не приготовить ему с утра костюм, крахмальную рубашку, не надраить ботинки.

- Молокосос! Школяр! Подонок! - Голос Александра Павловича набирал силу. - Я тебя по стенке! Мокрого места не останется!

- Папа, пожалуйста! - захлюпала Настя.

Отец повернулся к ней:

- А ты? Как гулящая девка, как шлюха...

- Александр Павлович, - шагнул вперед Дмитрий, - я вас попрошу выбирать выражения!

- Выражения? Я сейчас так выразусь на твой наглой морде, что кровью умоешься!

- Попробуйте! - напрягся и зло процедил Дмитрий.

– Ой, да что же это! – всплеснула руками Марфа. – Да как же это, люди добрые! Жили не тужили, в согласии и дружбе...

– А потом твой сын наплевал нам в душу!

– Я не... – начал Дмитрий, но получил от матери ощутимый тычок в бок.

– Не ерепенься, покайся!

– В чем, собственно? Хорошо! Александр Павлович, Елена Григорьевна, я бы принес извинения, если бы видел основания для них. Возможно, вам наши... действия кажутся несколько... преждевременными. Но у нас есть оправдание.

– Какое, интересно? – Камышин еще клокотал, но старался подавить гнев.

– Мы любим друг друга, – примирительно улыбнулся Дмитрий.

– Очень-очень, – тихо подтвердила Настя.

– Дык что теперь яроститься, – заговорила Марфа. – Дитё-то уже есть и не рассосётся.

«Это точно», – мысленно согласилась и вздохнула Настя. Пока ребенок не зашевелился, они с Митей надеялись, что все собой как-то «рассосется», по-детски прятались от последствий, которыми обернулись помрачительно восхитительные минуты настоящей близости.

– Только пусть «дитё» не называет меня бабушкой, – подала голос Елена Григорьевна. – Мне нравится манера европейцев величать грэнд-пэрэнс по имени. А если ребенку будет трудно произносить Елена или Лена, то пусть зовет меня Лёка. Правда, мило – Лёка?

На нее уставились в недоумении – так далеко ни чьи помыслы еще не простирались. Пожелание Елены Григорьевны мгновенно остудило накал страстей. Обычно она уклонялась от обсуждения бытовых проблем, но если уж снисходила, то умела замечанием нелепым, глупым, наивным, не по теме, отрезвить присутствующих.

– Прекрасно! – усмехнулся Александр Павлович. – Но мне-то как раз не понравится, если ребенок станет величать меня Сашок.

Марфа перевела дух: коль повели речь об именах, то гроза миновала.

– Папа, может, предложим Марфе и Дмитрию присесть? – спросила Настя.

– Нет! – отрезал Камышин. – Это ты, голубушка, вставай и становись с ними рядом.

Настя подчинилась с готовностью. Они тут же взялись с Митяем за руки. Низкорослая девушка между двумя дылдами походила на дюймовочку, которую взяли под защиту добрые великаны.

– На что и где ты собираешься жить? – спросил Камышин Дмитрия.

– Пойду работать...

– А через два года тебя забреют в армию, – перебил Александр Павлович. – И где, собственно, вы собираетесь вить свое семейное гнёздышко? Здесь? Лёка, – дернул он головой в сторону жены, – переедет в эту комнату, а вы займете ее будуар?

– О-о-о! – жалобно простонала Елена Григорьевна.

Точно такой же звук детской обиды и разочарования вырывался у нее, когда знакомый спекулянт вместо легендарных французских духов «Лириган де Коти» приносил ей «Красную Москву», тоже очень дефицитную.

– Или у Медведевых поселитесь? – продолжал Камышин. – Будете там впокатуху все спать на полу? Говори! – обратился он к Марфе. – Ты ведь уже все просчитала, наметила? Со свечкой не стояла? Воспитала обормота!

– Дык и вашего влияния тоже немало было. Все разговоры с Митяем политические вели, вот бы и наставили, как девичью честь беречь, – испугавшись вырвавшегося упрека, Марфа заговорила быстро. – В тесноте люди

песни поют, а на просторе волки воют. Разе мы дитёнка одного не поднимем? Разе я бессильная, немочная? А комнату сымут. Из двадцатой квартиры двенадцатого корпуса муж в длительную командировку отправляется, я уж договорилась.

– Великолепно! Она договорилась! Детки доигрались, а она договорилась! – бушевал Александр Павлович.

– Чуть потише, дорогой! – попросила Елена Григорьевна. – Если ты, конечно, не стремишься обеспечить соседям, которые сейчас, я уверена, прилипли ушами к стенке, – она ткнула папиросой в мундштуке на противоположную стену, – хорошую слышимость.

К тому, что общение мужа и жены Камышиных большей частью состояло из замаскированных упреков, все давно привыкли. У них никогда не доходило до открытых ссор, крика, оскорблений.

Елена Григорьевна была женщиной не просто особенной. Казалось, что она не ходит, а парит, не говорит, а поет, что прилетела на нашу планету с другой, волшебной планеты, где даже не коммунизм, а веселый рай. Она походила на яркую, нежную, хрупкую бабочку, которую неведомые ветры занесли в каменоломню, или, точнее, на грациозное животное, вроде газели, пребывающее в клетке зверинца. Елена Григорьевна ни дня не трудилась, не заработала ни копейки, не знала домашнего труда – скорее умерла бы от голода, чем подошла к плите и вскипятила чайник, сносила бы всю одежду, за неимением чистой опять-таки легла бы помирать, но непритронулась к корыту. Ее не волновали бытовые проблемы, их для нее попросту не существовало. Всегда находился кто-то, последние годы – Марфа, кто заботился о газели, чистил клетку и подносил еду. Изнеженная хрупкая бабочка-газель любила театр, музыку, балет, много читала, обожала модную одежду и косметику. Елена Григорьевна была очаровательна, и суть ее жизненного пребывания заключалась в очаровывании окружающих – и только. Другие женщины, помимо очаровывания, все-таки тратили свой ум на жизнеустройство или хотя бы на то, чтобы закрепить и развить свой успех у поклонников. Интриги Елену Григорьевну не занимали, и любовников у нее не было, как и долгих подруг. Бабочка – сегодня ее крылышками любуется один, завтра – другой. Газель – сегодня грациозно выбивает копытцем перед одним, завтра – перед другим. Тщеславие столь великое, что перестало быть осязаемым, как вода при

кипячении выходит паром.

Когда-то Камышин, студент из разночинцев, потом талантливый инженер, был сражен Прекрасной Еленой. Подобных девушек не существовало и не могло существовать. Потому что даже особы королевских кровей наверняка ходят по земле, а не парят, говорят, а не пропевают с подвздохами слова, не поворачивают голову, не взмахивают руками так, что балерины с их оттренированными лебедиными жестами должны от зависти сгрызть свои пуанты. Он влюбился, заболел ею, упорно добивался. Женился, вылечился, получил прививку от inferнальных женщин – экзотических животных лучше наблюдать со стороны. Хотел разойтись, не смог – Елена забеременела и была готова вытравить ребенка, он не допустил. К счастью, Настёна не под копирку мать повторила, что-то и от него взяла: трезвый практицизм, деловую хватку. И подражание матери: окутывание себя флёром беспомощной нежной очаровашки – не без влияния Митяя сошло на нет. В отношении к Прекрасной Елене было что-то от снисходительности к инвалиду. Настя быть инвалидом не желала.

Митяй и Настя дружат с детства, рассуждал Александр Павлович, можно допустить, что дочь унаследовала родовое качество камышинских женщин: его матери, которую он любил и ценил безумно, бабушки, прабабушки, о которых осталось нежное воспоминание, – умение выбирать достойных мужчин.

«Мы их унюхиваем, – говорила, веселясь, мама. – За грудиной есть приемник, он начинает щекотать, и тут уж не смотри, что нос картошкой, два вихра ссорятся на макушке, от волнения бэк-мэк-кукарек изъясняется, мундирчик старенький, чин плюгавенький, но понимаешь: вот именно он опора, надёжа, судьба и счастье. Детьми будущими как бы понимаешь – от него славных деток рожу». Мужчины камышинского рода подобной прозорливостью не отличались. Александр тому пример.

Митяй хороший парень: умный и покладистый, добрый и гордый, надежный и основательный – настоящий сибиряк. Но Митяй еще мальчишка, школьник!

– Папа, мама! – заговорила Настя. – Благословите нас.

– Господь! – хлопнула себя по щекам Марфа. – У доме ни одной иконы!

– Мы же не верующие, – улыбнулся Митяй. – Александр Павлович, Елена Григорьевна, я вам даю честное комсомольское слово и клянусь жизнью, что буду беречь Настёну больше жизни!

– В сложившихся обстоятельствах, – пробурчал Камышин, – нам ничего не остается, как поверить тебе. Зовите Петра, Степку – будем праздновать помолвку.

Когда выпили за здоровье молодых, и Камышин заговорил о будущем без гнева и ерничества, Митяй решительно воспротивился планам старших. Александр Павлович и Марфа, мнение Елены Григорьевны и Петра не в счет, полагали, что ему надо окончить школу, получить аттестат. Это означало – официально не расписываться с Настей, женатые в средней школе не учатся.

– Нет! Мы регистрируемся, я не хочу, чтобы мой ребенок родился вне брака.

– Благородные поступки, – проворковала Елена Григорьевна, – по мнению обывателей, всегда кажутся глупыми, нерациональными, невыгодными и даже пагубными. На этом построена вся мировая героическая литература – поступки благородного рыцаря идут вразрез со здравым смыслом. Дмитрий, вы прелесть!

– Его все равно засудят, – неожиданно встрял Степка. – Ведь узнают, на бюро комсомольское вызовут, хорошо, если выговором отделаются, а то и исключить могут. Это – хана, никуда не тыркнешься.

Камышин крикнул от возмущения, но посмотрел на сына, выказавшего поразительную практическую сметку, с любовью:

– Тебе кто слово давал? Ты почему вмешиваешься в разговоры взрослых? Еще раз пикнешь, вылетишь отсюда!

– А что, я неправду...

– Степан!

– Молчу. А на какой завод Митяй пойдет?

- Вон! - показал Камышин пальцем на дверь. - Не умеешь себя вести - твое место снаружи!

Степка понуро поплелся на выход. Камышин невольно посмотрел на Марфу, увидел в ее глазах одобрение, потер ладонью лицо, прогоняя неуместные чувства.

- Сыночек, а как же Академия художеств? - спросила Марфа. - Ты ведь мечтал.

Дмитрий глубоко вздохнул, протягивая воздух сквозь зубы, словно ему надо было задавить, потушить внутри себя тлеющий огонь:

- Никуда Академия не денется.

- Милый, - накрыла его руку своей Настя, - я тебе говорила, что...

- Ре-ше-но, - он нежно щелкнул ее по носу.

- Шестнадцать годков всего! - захлопнула рот ладошкой и покачала головой Марфа.

Теперь, когда ее сын не подвергался нападкам, она могла чуть-чуть выплеснуть свою печаль.

- Дык пятаки гнет пальцами, гы-гы, - впервые за вечер подал голос Петр.

- Если б только пятаки, - усмехнулся Александр Павлович.

Часть вторая

Великая Отечественная война

Добровольцы

Митяй пришел в районный комиссариат двадцать третьего июня – на второй день войны – записываться в армию. Он работал подсобным рабочим в трамвайном депо, устроился на летние каникулы, под давлением родителей согласился на компромисс: до осени трудится, а потом посмотрим.

Дежурный офицер, нервный и взъерошенный как грач, у которого разворошили гнездо, только глянул на Митяя, документы не посмотрел, отмахнулся:

– Иди отсюда! С сегодняшнего дня объявлена мобилизация лиц рождения тысяча девятьсот пятого тире девятьсот восемнадцатого. Понадобисься – пришлют повестку.

– Но я хочу воевать! За Родину! – Митяй осекся, уж слишком пафосно и одновременно по-мальчишески прозвучали его слова.

– Армии нужны опытные бойцы, имеющие военную подготовку. А ты кто?

– У меня значок «Ворошиловский стрелок»!

– У каждого второго такой значок. – И, повернув голову в сторону двери, офицер закричал: – Анисимов! Пропускать только по паспортам! Одолела пацанва. Добровольцев отсекай, понял?

Митяй возвращался в депо пешком. Война, а город почти не изменился, будто и не слышал о ней. Та же жара, духота, те же девушки в легких платьях, мужики в льняных брюках, сетчатых «бобочках» с короткими рукавами, на ногах парусиновые штиблеты, и выражения лиц обычные, мирные, не озабоченные. Да и чего паниковать, когда ясно, что война продлится месяц или два, вот только он на фронт не попадет.

На Константиновском проспекте Митяй притормозил и вместе с несколькими прохожими слушал, как милиционер объясняется с водителем:

– Ваш номер я записал, вам вручена повестка для следования на сборный пункт.

– Да ты знаешь, чье это авто? – разорвался водитель. – Артиста Черкасова!

– Весь автотранспорт, легковой, грузовой, личный и производственный, – монотонно тупо, явно не в первый и не в десятый раз говорил милиционер, у которого из-под фуражки по вискам катил пот, – мобилизуется по постановлению...

«Машина Черкасова!» – переглядывались и толкали друг друга в бока зрители. Киноактеры: Орлова, Тарасова, Марецкая, Утесов, Ильинский... были подобны богам, прекрасным и недосягаемым, увидеть даже пустой автомобиль Черкасова – событие.

Милиционер, оборвав перепалку, шагнул на проезжую часть и, взмахнув жезлом, велел остановиться грузовику. Митяй двинулся дальше, обратил внимание, что у продуктовых магазинов очереди длиннее обычного, хвосты на улице змеятся, и толпы людей у сберкасс – снимают накопления.

Ему очень хотелось побывать на войне, успеть. Он пошел записываться в добровольцы тайком от матери и от жены. Подобная скрытность не делала ему чести, но прекрасно вписывалась в сумятицу чувств, которые он переживал в последнее время. У него есть жена, и он скоро станет отцом. Ребенок! Маленький, пищущий, которого он обязан любить, но не испытывает ничего похожего на любовь, скорее уж досаду. Это подло, но правда. Он бросит школу, будет трудиться на черной грязной работе, распрощается с мечтами о Художественной академии или отложит их на неопределенное время. Он решил и не отступится, но не может заставить себя радоваться кульбитам судьбы.

«Я рвусь на войну, потому что хочу сбежать из дома? – спросил себя Митяй. – Нет! Враки!» – словно бы кому-то дал отпор, гневный и резкий.

Митяй столько раз пел в школьном хоре:

Если завтра война, если враг нападет,

Если темная сила нагрянет –

Как один человек весь советский народ

За свободную Родину встанет!

Пел и чувствовал огромное желание, готовность защищать родную страну. Это как защищать мать! А теперь еще и жену, и этого... ребенка.

Придя вечером с работы, где он таскал трехпудовые ящики, отужинав и отправившись спать, Митяй не выдержал и признался Насте, что ходил записываться в добровольцы, но его не взяли. Боялся, что Настя справедливо примется упрекать: ей тяжело, страшно, одиноко, она, беременная, замурована в квартире на Морском, а он, муж, вознамерился бросить ее.

Настя возилась, смешно бормоча:

- Пустите животик. Так, мы его сейчас пристроим. Куда попали? На коленки. Какой же у нас длинный папочка! Ползем вверх, пожалуйста, скажите, когда достигнем могучей груди.

- Достигли, - обнял ее Митяй.

- Как тут славненько! Чего ты хмуришься, как будто слопал мандарины из моего новогоднего подарка.

- Я всего одну слопал, и когда это было! Обижаешься, что я в военкомиссариат пошел и не сказал тебе?

- Нисколечки! Ты - Болконский.

- Кто?

- Роман Толстого «Война и мир». Проходят в старших классах. Болконский - мой любимый литературный герой.

- Первый раз слышу.

- Про роман?

- Про то, что у тебя водятся любимые герои.

– Ревнуй, ревнуй, так, глядишь, и с великой русской литературой ознакомишься.

– И что Болконский?

– Он ушел на войну и оставил беременную жену, маленькую княжну с усиками.

– С чем?

– Пушок у нее был темный под носом. Я решительно не желала бы иметь такое украшение. Болконский хотел славы, и его не удовлетворяло собственное семейно-общественное положение. Как и тебя.

– С чего ты взяла...

– Митя! Разве я не вижу, что с тобой происходит?

– Со мной все нормально и никакой славы я не хочу.

– Тебя все жалеют: соседи, приятели, учителя. Они смотрят на тебя, как на несчастного юношу, подававшего большие надежды, да и влипшего. Интересное дело: живот растет у меня, рожать мне, а с сочувствием все взирают на тебя. Точно я кровожадная паучиха, заманившая в свои сети доброго молодца.

– Это я тебя заманил.

– В следующий раз, когда нам встретится учительница русского, уставится на мой живот осуждающе, а на тебя – с тихой скорбью, ты ей прямо скажи: «Видите, Мария Гавриловна, какую красотку я заманил!»

– Договорились. А что с Болконским и княжной при усиках?

– Андрей Болконский увидел небо над Аустерлицем. Небо – как постижение бытия. Маленькая княжна умерла в родах. У них тоже родился мальчик.

– В каком смысле «тоже»?

– У нас родится мальчик. Ты совершенно не похож на мужчину, способного производить девочек.

– Очень боишься родов?

– Безумно!

– У тебя нет усиков, поэтому все кончится хорошо.

– Все только начнется. Я его, нашего сына, уже люблю, он ведь во мне растет и дрыгается, точно в футбол играет. А ты полюбишь потом, обязательно полюбишь! Не переживай!

– Настя! – Он хотел сказать, что очень любит ее, но говорил это уже сотни раз, и слов, которые могли бы выразить его чувства, не находил, возможно, их и не существовало.

– Что, милый?

– Ты – мое место на Земле. Мне очень хорошо с тобой.

– Это самое главное.

Марфу и ее мужа Петра мобилизовали на строительство укреплений под Лугой. Они взяли с собой Степку, потому что оставлять его без присмотра было опасно. Митяй и Александр Павлович с утра до вечера на работе, Елена Григорьевна не в счет, Настя с хулиганом не справится, а Степка уже начал собирать из окрестных приятелей отряд для прорыва к фронту и разгрому фашистов.

Петра с ходу назначили бригадиром – мужиков среди мобилизованных было по пальцам счесть, да и те не физического труда, а умственного – профессора в очечках. Руководитель из Петра – как из зайца гармонист. Распорядилась Марфа. Где копать, куда ссыпать – показали. Из орудий – лопаты, носилки, тачки. Физически сильным Марфе и Петру в бригаду натолкали девушек, которые приехали возводить укрепсооружения в летних платьицах и туфлях-лодочках. У профессоров и девушек в конце первого же дня вспухли мозоли на

руках. Но никто не роптал. Рукавиц не было, перетягивали ладони тряпками. За Марфой, Петром и даже за Степкой никто из бригады не мог угнаться, но все старались. Марфа никогда не видела столько «культурных» людей из породы Елены Григорьевны, которые бы трудились неумело и самоотверженно. На них было жалко смотреть, но они жалости не просили.

Правда, один из «профессоров» как-то затеял бунт:

– Мы копаем противотанковый ров неверно ориентированный! Это инженерная ошибка с профилем! Судите сами: танк или пехота должны натолкнуться на стену. Теперь посмотрим географически. Откуда пойдет враг? С северо-запада. Он не уткнется в препятствие, а взлетит на него и скатится на равнину.

Марфа, уставшая до дрожи, схватила «профессора» за грудки, оттащила в сторону:

– Замолкни, контра! Мы тут до кровавых мозолей убиваемся. Враг подходит, а ты хочешь нас перекопать заставить?

– Я, собственно... Конечно, перекопать невозможно, и разрывы снарядов все ближе и ближе. Нереально. Отпустите меня, пожалуйста. Господи! Я и не подозревал, что женщина способна оторвать меня от земли. Отпустите!

– Помалкивай, понял? – Марфа поставила «профессора» на землю, поправила у него очки на носу и одернула пиджачишко.

Худенькая девушка не удержала наваленную землей тачку, которая вильнула, подсекла Петра, и тот полетел, кувыркаясь, с кручи. Сломал ногу и плечо. Пришлось везти его в город. В кузове полуторки, кроме Марфы с мужем и сыном, было еще несколько калеченных. Но никто так не вопил на ухабах, как Петр. Он совершенно не мог переносить боли. Вид большого, сильного, бородатого мужчины, который рыдает, кричит и скулит, был невыносим. Марфа держалась руками за борт машины. Лицо ее было каменным – она на себе тащила мужа к машине, надорвала какую-то жилу, по спине и животу плясали молнии.

Степка плакал, держал отца за здоровую руку и уговаривал:

– Батя, потерпи! Потерпи!

Через три часа приехали в Ленинград. В больнице, спешно переоборудуемой под госпиталь, врач только заглянул в кузов и сказал, что переломы закрытые, гангрены не возникнет, наложите шины, заниматься вашим плачущим великаном некому.

Водитель, добрая душа, довез их до дома. Степка сбегал за соседками. Четверо баб, Марфа в том числе, кое-как доволокли Петра до постели.

В ее двухнедельное отсутствие хозяйничала Настя. В магазины за продуктами не ходила – там огромные очереди, только раз или два в булочную за свежим хлебом отправлялась. Да и зачем беспокоиться, когда Марфа натащила запасы? Они питались кашами, молочница с бидонами на тележке уже не появлялась по утрам, оглушая двор раскатистым: «Молоко-о-о! Молоко-о-о!» Поэтому пустили в ход банки со сгущенным молоком, с трудом добытые Марфой. Чередовали их с вареньем: вишневым, клюквенным, яблочным, грушевым – оно же прошлогоднее, чего беречь. Ели каши, пили чай с булками, намазанными сгущенным молоком и вареньем, тем же и мужиков кормили.

Марфа, заскорузлая от грязи, в мятой вонючей одежде, усталая, с хлыстами боли по спине и животу, стояла и смотрела на них: блаженную Елену Григорьевну с папироской в тонких пальчиках, Настю – беременную девочку, бездумно израсходовавших часть ее припасов. Им не объяснить. Они не сибирячки. Не понимают, не впитали с молоком матери, не учились суровой науке у мудрой свекрови. Рассчитывать нужно только на себя! Семейный круг ты обязана обеспечить так, словно живешь в диком поле, в суровой снежной тундре – автономно, единолично. А эти городские барышни, что молодая, что старая, привыкшие к сортирам и водопроводу – к тому что само течет и откуда-то берется и убирается... С ними бессмысленно разговоры вести.

– Ма-арфа! – протянула Елена Григорьевна тем капризным тоном, которым просила заваривать кофе покрепче. – Кто так ужасно кричит? Это твой муж?

Петр забывался на несколько минут, спал, а, проснувшись, снова начинал орать от боли так, что соседи сбегались к их двери.

– Митяй когда приходит? – спросила Марфа Настю.

– Скоро должен прийти. Марфа, я могу чем-то помочь?

– Уж помогла дальше некуда.

Боль полосовала тело молниями. Как если бы молнии привязать к деревку, и они превратятся в хлысты. Теми хлыстами и стегало Марфу.

Она пришла в свою квартирку, приблизилась к кровати, на которой лежал стонающий Петр:

– Заткнись! Умолкни! Я тебя кормить не буду и твоё сранье выносить не стану, если не замолкнешь! Ножка у него сломалась и ручка! Ты мне жизнь сломал, проклятый!

– Мама, что ты говоришь? – заплакал Степка, который за всю жизнь не пускал столько слез, сколько за этот день. – Ему же больно!

– Больно? – повернулась к сыну Марфа. – Нет у настоящих мужиков «больно»! Отсутствует понятие! И это не твой отец, а тварь полоумная!

Испуганный Степка расплакался еще пуще, Петр грыз большой палец здоровой руки и обиженно гыгыкал.

Во спасение Марфы пришел Митяй:

– Что тут у вас происходит?

Он помог матери нагреть воды, самой помыться в корыте, Степку искупать, обмыть отца, замочить и выстирать одежду, приготовить ужин для себя и для Камышиных.

Митяй никогда не видел мать расхристанной и слабой, икающей от какой-то резкой внутренней боли. Она позволила себя раздеть и погрузить в корыто, не стесняясь, хотя обычно не допускала, чтобы ее видели даже в нижней сорочке. Ее тело было очень красивым – молочно-белым, упругим, с идеальными пропорциями. Вот бы ее нарисовать! Никогда не согласится позировать. Мать

была чистоткой – так, кажется, в Сибири величали аккуратных женщин. Желание смыть с себя двухнедельную грязь пересилило природную стеснительность.

Сын Параси, двенадцатилетний Егорка, сбежал на войну. Оставил записку: «Мама, не сердись! Я уйду на фронт бить фашистов».

Прасковья рухнула на лавку и закачалась в немом крике: рот открыт, а голоса нет.

Каждый день по Иртышу плыли баржи с призывниками, причаливали к пристаням, забирали пополнение и плыли дальше. На берегу стоял безутешный бабий вой, многократно усиливавшийся, когда командовали погрузку. В этой суматохе Егорка, наверное, и прошмыгнул на баржу.

Не уберегла сыночка последнего! Не сдержала перед мужем слово!

В дом вбежала четырехлетняя дочка Аннушка, увидела маму, испугалась, подскочила к ней, обняла за коленки. Мама была как неживая: качалась и смотрела в одну точку – Аннушка ее трясла и звала, но мама ничего не слышала. Девочка громко заплакала и бросилась на улицу за помощью.

Мать и сестра Параси не знали, что с ней делать, хоть водой отливай. Но ушат воды опрокидывали на бабу, когда она сознание теряла или с пеной у рта билась в истерике, а Парася, ополоумев, только качалась.

К вечеру выяснилось, что Егорка сбежал не один, с ним еще три мальчишки, в том числе пасынок Максима Майданцева. Это уже внушало надежду: один пацан может затеряться, а компанию беглецов отследить легко. Максим бросился в райцентр, звонить по телефону и слать телеграммы. Парасю уложили на кровать и горячо убеждали, что все образуется, поймают беглецов. И наказать их надо по первое число – чтобы знали, как матерей до смерти пугать.

На следующий день Прасковья отошла, заговорила, но была очень слаба. Пережитый страх подорвал ее и без того хрупкое здоровье. Она быстро уставала, задыхалась, стали случаться приступы невыносимой боли за грудиной.

Доктор выписал лекарство, но оно мало помогало. Болезнь по-научному называлась стенокардия, а по-народному – грудная жаба. Сердце, и правда, часто и тревожно квакало.

Троих мальчишек вернули в село через неделю, а Егорку не отыскали.

Старший сын Параси теперь звался Василий Андреевич Фролов. Он смутно помнил, как бежал с Фроловыми после гибели родителей из колхоза, как тряслись на телеге, как ехали в поезде. Его тогда била дрожь, лихорадило, было горько и страшно до рвоты, до спазма кишок и выворачивания пустого желудка. Фроловы говорили попутчикам: «Это не тиф. Наш сын отравился рыбой». Теперь он был их сын. Ирину Владимировну следовало называть мамой, а Андрея Константиновича – папой. Чтобы никто не узнал, что Василий – сын врага народа, и чтобы его не постигла бы участь родных.

Фроловы уехали недалеко, за четыреста километров от Омска, на север Казахстана. Они давно слышали о Боровском заповеднике: озера с чистой водой, великолепный климат – оазис, спрятавшийся между сибирскими лесами и дикой степью. Город Щучинск с окрестностями называли казахстанской Швейцарией.

Ирина Владимировна работала в школе, Андрей Константинович – бухгалтером на промкомбинате, изготавливавшем мебель. Их чопорный и отчасти тайный быт: крахмальные салфетки, супницы, серебряные приборы – был восстановлен. Они жили изолированно, друзей и приятелей не имели, держались за свой мелкий дореволюционный этикет, как держатся за спасательные круги люди, потерпевшие кораблекрушение. Только теперь их было не двое в лодке, а трое. У Васи долго не получалось называть Фроловых мамой и папой, нет-нет, да и вырывались имя-отчества, к которым он привык с младенчества. Если случалась оговорка при посторонних, Ирина Владимировна поясняла: «В нашей семье приняты уважительные обращения, и никаких «тыканий». Сказать «ты» кому-то из Фроловых Васе и в страшном сне не могло привидеться.

Бездетные, они привязались к мальчику, когда он еще под стол ходил. Научили читать в три года, в пять он уже складывал в уме трехзначные числа. Вася был не просто талантливым ребенком, он обладал качеством, необходимым для ученого – любовью к процессу приобретения знаний. Этот процесс Васю

интересовал более, чем уличные игры со сверстниками. Причем область знаний долгое время значения не имела: ботаника, биология, география, иностранные языки... Пока не стало ясно, что его призвание – математика и физика.

Фроловы много сил отдали его воспитанию и образованию. Умудрялись находить книги, немыслимые в провинциальной казахстанской глуши. Им повезло, что в городке проживала ссыльная профессура из Москвы и Ленинграда, у которой Вася брал частные уроки по многим дисциплинам. С талантливым мальчиком занимались бы и бесплатно, но Андрей Константинович филантропии не допускал – расплачивался продуктами и носильными вещами. Ссылные ученые, которые не имели права даже в школе преподавать, выказывали абсолютную беспомощность в организации быта и пропитания. Рассказать о древних сверхконтинентах с прекрасными именами – Родиния, Гондвана, Пангея, о принципах классификации растений и животных они могли, а картошку посадить или кур завести – не умели.

В городской школе Васе делать было нечего. Большинство учеников из-за хронического недоедания, необходимости трудиться на семейных огородах буксовали на квадратных корнях, а Вася решал дифференциальные уравнения. Он сдавал экстерном – за год по два класса.

Ирина Владимировна и Андрей Константинович не хотели, не умели или не находили нужным проявлять к Васе нерассуждающую родительскую нежность. Как настоящая мама Парася, которая обнимала его, целовала в макушку и говорила, что он ясный сокол, кровиночка и радость ее несказанная, или как настоящий отец Степан Медведев, который подбрасывал его к потолку и рокотно, счастливо восклицал: «Растет, тяжелеет сынка! Ох, могучный из него мужик выйдет! Настоящий сибиряк!»

Новая мама уделяла большое значение манерам – сидеть за столом, не взгромождая на него локти, пользоваться салфеткой, вилкой и ножом, откусанный хлеб класть на специальную тарелочку рядом с большой тарелкой для второго блюда, на которой стоит тарелка для супа, а по бокам от тарелок – приборы. Все эти дореволюционное барское манерничанье было нелепо: на первое и второе у них часто была только каша, слегка приправленная растительным маслом или комбижиром. На специальное обучение Васи уходила основная часть зарплат приемных родителей. Для Фроловых, особенно для Ирины Владимировны, сохранение и поддержание культурного быта в мелочах имело такое же значение, как для астронома возможность видеть небо. Нет

неба – нет смысла существовать.

К пятнадцати годам Василий вытянулся, но был худ и сутул, очки носил уже два года. От природы он получил прекрасное тело. Которое не знало физических нагрузок, спортивных тренировок. Фроловы не жаловали физкультуру. Единственное времяпровождение, не связанное с чтением и занятиями с репетиторами – воскресные прогулки к озерам. Красота природы, весенняя и осенняя, была потрясающей. Они гуляли и разговаривали на французском и немецком. Вася уже стал изучать английский, но Фроловы его не знали.

Василий никогда не задумывался над тем, чем вызвано участие Фроловых в его судьбе: удовлетворением родительской потребности, благородным желанием помочь способному ребенку или просто возможностью скрасить унылую жизнь, развлечься. Он не испытывал к ним душевной привязанности, да и благодарности. В нем рано проснулся эгоизм, свойственный ученым-фанатикам. Если им что-то надо, они берут, а чувства тех, у кого берут, значения не имеют.

В пятнадцать лет Вася окончил школу, просуществовал изолированно, как микроорганизм в колбе, его даже окрестные пацаны ни разу не побили. Получив аттестат, поехал в Москву поступать на физический факультет МГУ.

Столица ошеломила деревенского мальчика, однако не напугала, поставив перед ним городские задачи: как ездить на метро и в трамвае, как ориентироваться в хитросплетении улиц, переходить через них. Чтобы решить эти задачи, требовалось только понаблюдать за москвичами.

В приемной комиссии университета к Василию отнеслись настороженно: «только вундеркиндов из тмутаракани нам не хватало».

Он блестяще сдал вступительные экзамены, а про те задачи, что были предложены ему дополнительно, на засыпку написал: «Условия смысла не имеют» – и ниже, уравнениями в столбик, доказательства.

Поступив в МГУ, Вася жил в общежитии и был так же далек от интересов двадцатилетних однокурсников с их амурными похождениями, посещениями танцплощадок, ночными пирушками, как был далек в казахстанском городке от сверстников с их рыбалками и пацанским хулиганством. По учебе, по общему развитию он был среди первых, по возрасту – подростком пуританского

воспитания.

Летом сорок первого Вася на каникулы приехал в Казахстан, к приемным родителям. Им не нравилось, что Вася ходит по «профессуре» – рассказывает о последних достижениях науки, раздает научные журналы. Это могло привлечь внимание органов. Фроловы боялись карательных органов панически. Васе на их страхи и предостережения было чихать. Тем особенным людям, которых он навещал, к породе которых сам, безусловно, относился, узнать про новый химический элемент гораздо важнее, чем дрова заготовить. Хотя без дров зимой будет кирдык.

Началась война и выяснилось, что реальной возможности в Москву вернуться у Васи нет. На запад один за другим шли эшелоны с военной техникой, солдатами срочной службы и призывниками. На редкие гражданские поезда достать билет немислимо. Василий рассудил, что не так уж и существенно, где записываться в добровольцы, в Щучинске или в Москве.

Офицер в комиссариате не посмотрел на год рождения, обратил внимание на студенческий билет:

– Второй курс, значит полное среднее образование?

– Совершенно верно.

– Формируется группа для отправки на ускоренные курсы офицеров связи, туда тебя и направим.

Им обоим, Василию и Митяю, несказанно повезло. Если представить жизненную удачу как последовательное и растянутое во времени вручение неожиданных подарков, то им отсыпали все и сразу. Проще говоря, подарили жизнь. За подарки потом спросится, но это потом и у живых.

Василий не попал рядовым в необстрелянный полк, одна винтовка на троих, с колес эшелона – на передовую.

Митяй, который в августе, второй раз, пришел на призывной пункт, мог оказаться в народном ополчении, куда записывали всех подряд, а из вооружения – винтовки из городских тиров. Ленинград защищали грудью – в прямом смысле слова.

– Мне бы в танкисты или в летчики, – попросил Митяй.

– Возраст? – спросил офицер.

– На заводе работаю, и скоро у меня сын родится.

– Ишь ты, – усмехнулся офицер глупому ответу. В последние недели у него не было возможности шутить, смеяться или просто улыбаться, а тут верста коломенская в летчики желает. – Твоя башка, молодой отец, будет из танка торчать по самые грудя?, хоть они у тебя и не кормящие. Аналогично и с самолетом, ты в кабине и бубликом вряд ли поместишься. Анисимов! – позвал он рядового, дежурившего у двери. – Глянь, майор, что в артучилище набирал, еще не отбыл?

Майор не уехал и принял Митяя. Наверное, за то, что он с ходу перечислил свои спортивные достижения и еще добавил:

– А вообще-то я родом из Сибири.

Из-за волнения и страстного желания попасть на фронт Митяй изъяснялся как полумок.

В отличие от других призывников, имевших рюкзаки или заплечные мешки с ляжками, у Митяя с собой кроме документов ничего не было. Зато он удачно не отшил увязавшегося за ним брата Степку, потому что времени на прощание с матерью и женой не было.

– Передай им, – говорил Митяй, – что я напишу, что б они не волновались. И еще, скажи Насте... она знает.

Как через девятилетнего пацана передавать слова любви, верности и поддержки? Она их тысячу раз слышала.

- Везет тебе! - Степака не скрывал жгучей зависти. - Ты так на фронт, а я так...

- Уши зажили? - притянул к себе брата Митяй и крепко обнял. - Братка! На тебя оставляю самое дорогое! Береги мать!

- Чего ее беречь? Она сама кого хочешь уберезет, - всхлипнул, скривился, замотал головой Степка.

После того, как отец покалечился, а Степка нарвелся хуже девчонки, он дал себе слово никогда в жизни больше не плакать. Сдержать это слово пока не получалось.

- Мужик! - Старший брат отстранил Степку, наклонился и посмотрел ему прямо в глаза. - Я могу на тебя положиться?

- Ладно, можешь! - утер ладонью нос Степка.

- Если Елена Григорьевна, - наклонился к его уху Митяй, - вздумает назвать моего сына Альбертом, стой насмерть и не позволяй!

- А как надо?

- Иваном, - после секундной задержки сказал Митяй. Он никогда не задумывался об имени своего ребенка.

- Как Иван-дурак из сказки? - Степка тянул время, уже объявили посадку, новобранцы лихо запрыгивали в кузов полуторки. Степке не хотелось, было страшно расставаться с братом.

- Наш русский дурак поумней заморских мудрецов всегда оказывается.

- И немецких?

– Немецких – обязательно! Все! Я пошел, Степка! Но пасаран! – Митяй поднял кулак, и Степка, едва сдерживающий слезы, отсалютовал в ответ победным жестом испанских коммунистов.

Ускоренное обучение военным специальностям заняло у них несколько месяцев – три у Василия и пять у Митяя. Это были самые страшные месяцы – и по потерям, и по подавляющей волю растерянности: фашист катил по стране с обескураживающей скоростью. А ведь все были уверены, что мощь страны огромна, что напади враг на нас – война закончится быстро и победно. Перестроить сознание, принять новые реалии, не испугаться, а всколыхнуть в себе силы и злость для борьбы – сложнее, чем обучиться принципам организации связи фронтовых подразделений или поражению целей малой, средней и тяжелой артиллерии.

Василий и Митяй, когда поймут, как им повезло не сгинуть в первом полуме войны, не будут относиться к подарку судьбы с религиозной фатальностью: перекреститься и поблагодарить Бога. Без слов, наставлений и пояснений – с молоком матерей они впитали: если ты выжил, то на тебя перекладывается долг погибших. Это как: убили брата, мужа сестры – ты заботишься об их семьях.

Масштабы бедствия, число семей, потерявших кормильцев, были огромны – не покроешь своим участием. Но, с другой стороны, большинство однополчан Василия и Митяя были с ними одной крови, хотя и по национальности отличной. Высоким стилем никто не изъяснялся, но речи политрука, статьи в газетах, состоявшие сплошь из лозунгов, вонзались в сердце и в мозг почти с той благостью, которая бывает, когда получишь письмо от матери, жены, сестры – из дома. Домом стала вся огромная страна.

Василий и Митяй ничего друг о друге не знали. Когда-то, в сибирском детстве, они постоянно соревновались, мерялись по-мальчишески. Их пути разошлись, а теперь не сблизилась, потому что воевали на разных фронтах – семнадцатилетние офицеры. Впрочем, никто о возрасте не спрашивал, а выглядели они старше своих лет.

И еще было общее: во время кратких передышек, переформирований в ближнем тылу оба предавались занятиям нетипичным для отдыхающих бойцов. В

семнадцать лет кажется, что время от тебя убегает, надо хватать его за хвост, иначе не успеешь сделать главное.

Митяй рисовал: портреты однополчан, сожженные дома с обугленными, но выстоявшими русскими печами. Делал зарисовки с оторванными руками, сжимающими винтовку, полупрофили санитарок, бинтующих раненых бойцов – Митяю всегда хотелось поймать жест, искривление тела как выражение острой эмоции.

Его рисунки пропали: сгорели, потерялись, были брошены – он не берег их.

Василий свои учебники, тетради с записями хранил как зеницу ока.

Миловидная телеграфистка Света, положившая глаз на очкастого лейтенанта, начальника дивизионной связи, обнимала сзади, клала голову на плечо Васе, кокетливо ворковала:

– Чёй-то вы все пишите и пишите! Закорючки какие-то нерусские.

– Они, собственно, универсальные, математические, – Вася от вспыхнувшего желания был готов завалить Свету на топчан, как делал помначштаба, не обращавший внимание на Василия, который, естественно, тут же выскакивал на улицу. – Видите ли, – бормотал Вася, – я считаю, что любое явление можно описать математически, в том числе принципы функционирования нового невероятно мощного оружия, которое...

– А любовь описать можно? – перебивала Света, сложив губы трубочкой и дую ему на ухо.

– Безусловно! Но для этого требуется создать теорию, испытать ее модель...

Света почему-то решила, что Василий назвал ее «моделью», и это было обиднее, чем «подстилка офицерская», как в глаза ей бросали другие девушки-телефонистки.

– Испытатель нашелся! – презрительно прошипела Света, распрямившись. – Сам, небось, не знает, как к бабе подступиться.

Василий действительно не знал, и его невинность, стеснительность и смущение в общении с девушками служили для однополчан поводом для шуток. Защитой могла быть только суровая маска, нацепленная Василием: сейчас не время для амурных развлечений. Со своим непосредственным командиром, помначштаба, он испортил отношения вдрызг, пустив шутку: «Всё на свете? Или все на Свете? – вот в чем вопрос».

Митяй слыл бабником, хотя скоротечных связей не заводил. Товарищам по оружию было завидно, что девушки смотрят на улыбающегося Медведева, как воспитанные кошки на сметану – облизываются, изображают готовность вылизать миску, лапки у них подрагивают, но без команды не приближаются. По общему мнению, сибиряк получал удовольствие втихаря, не афишируя своих постельных побед над местными гражданками и военно-медицинским женским персоналом. Митяй ничего не отрицал, но и не подтверждал, потому что слава громителя женских сердец неожиданно укрепляла его авторитет как командира. Этот авторитет, конечно, базировался на его сметливости, отваге, человечности – он впрягался наравне с рядовыми и сержантами, когда тащили орудия по грязи, помогая изнемогшим лошадям, и не трескал свой офицерский паек в одиночку, а делился с бойцами. И все-таки артиллеристам явно льстило, что могли про своего командира сказать:

– Орел! Коршун, едрить! Только в село вошли, мы честно баб предупреждаем: «Прячьте девок! Ох, и зол до них наш командир!»

Курск

В сентябре 1941 года фашисты приблизились к западным границам Курской области.

Нюраню, как и всех медицинских работников призвали в армию еще летом. Но, объявив их мобилизованными, сразу пристроить врачей: отправить на курсы переквалификации – в хирурги, хоть из стоматологов, но – в хирурги, потому что на войне они нужней всего, не успели. Для спешной эвакуации: людей (из специального списка), промышленного сырья, оборудования предприятий, культурных ценностей, зерна, скота и птицы – транспорта в Курской области не хватало.

Первого ноября Нюраня получила известие: умирает Ольга Ивановна – акушерка из маленькой больнички, несколько лет назад спасшая Нюраню, беженку раскулаченную. Ольга Ивановна заменила ей мать, стала учителем, наставником и охранительницей. Но не из чувства благодарности Нюраня отправилась в опасную дорогу. В суровые времена, на которые пришлась юность Нюрани, в изобилии встречались как подлость человеческая, так и благородство самой высокой пробы. Для Ольги Ивановны Нюраня – нечаянная, последняя привязанность, любовь и гордость. Так, как суровая и немногословная Ольга Ивановна любила Нюраню, только свои, родные любили. Им: отцу, матери, брату Степану – Нюраня не закрыла глаза на смертном одре, не проводила в последний путь. Так пусть хоть отдаст последний долг Ольге Ивановне.

Нюраня успела до минуточки.

Ольга Ивановна узнала ее, слабо улыбнулась и сказала:

– Ты!

Агония длилась три часа.

Деревенские бабы обмывать и наряжать покойницу не пришли, хотя обычно дежурили у дома, где свежий покойник – заработать хоть копеечку. Все прятались в подполах – бомбили далеко, но страшно.

Нюраня сама обмыла и одела в последний путь свою наставницу. Вместе с Николаем – бессменным конюхом, сторожем и работником больнички, положили Ольгу Ивановну в гроб. Николай заранее его выстругал, как и могилу выкопал. Нести вдвоем гроб, даже без крышки, до телеги было невероятно тяжело.

Пока тащились до кладбища, Николай, заметно постаревший, седой и сгорбленный, бормотал ругательства в адрес своей жены Дуськи, которая не пришла на помощь, а пряталась. Очень эта дура нужна Гитлеру!

Нюраня понимала, что так он прощается с Ольгой Ивановной, с которой бок о бок прожил много лет, пусть не счастливых в смысле радости и веселья, но в смысле спасения чужих жизней – эти годы как утрамбованная капуста в бочке.

Засыпали могилу. Николай спросил:

- Звезду на деревянную пирамидку крепить али крест ставить?

- Крест, - ответила Нюраня.

- За крест, бают, теперича наказывают, высылають.

- Выслать ее дальше, чем сейчас лежит, невозможно. И все испытания, которые можно послать женщине, она приняла. Несла свой крест, и пусть его символ стоит на ее могиле.

- Символ я строгать не обучен. Простой крест заготовил.

Они спустились с косогора, по которому сплывало разросшееся сельское кладбище, и Николай неожиданно сказал:

- На Орлике до города ехай.

Коняга Орлик - единственная и абсолютная любовь Николая. Оказавшись в провинциальной больничке много лет назад, Нюраня часто ругалась с Николаем, который не пускал Орлика по высокому первоснегу за роженицей, потому что, видите ли, до дальнего села «всеравны не добратся, а то, что ёйный муж припёрсси по сугробам, так воно у него со страху».

Николай ежедневно мыл, скреб щеткой Орлика, сам недоедал, жене не давал, но кормил и холил коня.

И вот теперь Николай отдавал своего любимца Нюране.

- Ты, где можа, пеши, а под горку - садись на телегу, ногам сдохнуть, - бормотал Николай, поглаживая шею коня. - Как доберёсси, на конюшне Кондрату Орлика не отдавай, найди Федора, он мужик надежный и меня знает. А если Орлик совсем... Скажи Федору, что подковы у коня новые, подковывал по весне. Да Федька и сам увидит.

«Как же! Доберёсси! – думала Нюраня. – Коняга чудом гроб до кладбища довез. Он так стар, что сдохнет через две версты».

– Спасибо! – поблагодарила Нюраня. – Я как-нибудь сама, на перекладных.

– Сколько отвалила, чтобы тебя сюда доставили?

– Много.

На те деньги, что заплатила Нюраня, можно было первым классом прокатиться до Крыма и месяц там отдыхать, ни в чем себе не отказывая. Емельян не знает, что она почти все сбережения выгребла из шкатулки, с мужем еще предстоит разговор.

– А ноне ни за какие шиши не повезут, – сказал Николай. – Нету перекладных, транспорт и лошади мобилизованы. Вот тут тебе ёщё...

Он порылся в телеге, достал сверток ткани, раскрутил его. Это была старая ветхая льняная простынь с большим красным крестом в центре, пришитом грубыми стежками.

– Зачем мне? – удивилась Нюраня.

– Чтоб ераплан увидел и не бомбил. С Гражданской берегу. Ну, бывай!

Он развернулся и пошел прочь. Старый, сгорбленный, с развевающимися на ветру сивыми нестриженными волосами и бородой.

– Дядя Николай! – закричала Нюраня, подбежала к нему, обняла.

– Ды уж ехай, ехай! – отстранил он Нюраню. – Не рви сердце!

Его сердце, конечно, рвалось от расставания с любимыми конем, а не с Нюраней. Хотя для нее он пожертвовал самым дорогим.

Большая часть пути прошла благополучно. Нюраня возвращалась в город с востока, а враг наступал с запада. Верный Орлик перебирал ногами в том же темпе, что и Нюраня. Она несколько раз присаживалась на телегу на спусках, пила воду из бутылки, заткнутой кукурузным початком. Николай, никогда прежде не отличавшийся заботливостью, положил в телегу бутылку с водой, завернутую в тряпицу краюху хлеба и две луковицы, соль в спичечном коробке, и вдобавок зачем-то фляжку с самогоном. Открутив крышку и понюхав, Нюраня брезгливо передернулась.

Она ехала меж двух полей, на которых взошли озимые. Мохнатый травяной ковер в лучах предзакатного солнца приобрел нежно-изумрудный цвет и простирался до небольшой балки на горизонте. Звуки дальнего боя или артобстрела были нестрашными, как гроза, бушующая где-то за тридевять земель – пока до тебя дойдет, ослабеет и превратится в мелкий дождик.

Шум мотора из-за балки тоже не насторожил Нюраню. И когда шум усилился, из-за деревьев вылетел самолет, она, задрвав голову, смотрела на него с детским любопытством. Самолет резко пошел вниз, Нюраня увидела черный крест на крыльях и даже разглядела за стеклом кабинки летчика в шлеме. Она подняла руки, потрясла ими, как бы говоря: «Подожди минуточку!» Быстро расстелила полотно с красным крестом и потыкала в него, мол, врач, стрелять не следует.

Летчик сделал небольшой круг над полем и, пролетая обратно, пустил пулеметную очередь. Он промазал – змейкой пробежали по краю поля фонтанчики земли и вырванной травы. Фашист пошел на второй круг, Нюраня рухнула на колени под боком у коня. Орлик оглох года три назад, разрывы пуль его не тревожили. Нюраня, испугавшись вдруг и остро, превратилась в мышь, в зайца, в собаку – в животное, которое прячется в любую щель, за любую ограду, если нельзя спастись бегством.

Во второй заход фашист не промазал – пулеметная очередь прошла Орлика, всколыхнула покрывало на телеге. Орлику пробило шейную артерию, брызнувшая фонтаном кровь окатила Нюраню. Умный конь не завалился на бок, а сложился, упал на подогнувшихся ногах животом на землю. Он был запряжен легкой пристяжкой, без дышла, дуги, оглобель, которые могли бы удержать раненого коня от падения на бок.

Нюраня детство и юность провела в селе и повадки домашних животных знала. Она много раз слышала, как воевавшие мужики говорили, что раненый конь чаще всего падает на бок и что если на тебя завалится, «весу-то боле полтона», – хана, повезет, если только ноги придавит. Орлик ее спас – и от пуль, и не завалившись на бок.

Но в тот момент она ничего не вспоминала, не удивлялась поведению Орлика – на четвереньках, обдирая коленки, ползла под телегу и верещала:

– Мамочка! Мамочка, спаси!

Фашистский летчик сделал еще один круг и пустил еще одну пулеметную очередь. Она не причинила Нюране вреда, только несколько щепок от телеги впились в лицо. Самолет улетал, его рокот становился все тише и тише, а Нюраня все звала на помощь то мамочку, то Господа.

Кое-как уняв дрожь, сотрясавшую тело, Нюраня выдернула щепки, ее кровь, потекшая из ран, смешалась с кровью Орлика. Нюраня оторвала несколько полос ткани от полотна с красным крестом, смочила самогоном и вытерла лицо, кое-как перебинтовала.

Надо двигаться дальше. Поплелась, шатаясь. Добралась до балки и поняла, что не может сделать ни шагу. Ее физическая усталость не могла быть уж очень большой, но тело отказывалось повиноваться. Нюраня опустилась на землю, свернулась калачиком под деревом и расплакалась. Слезы намочили повязки, и раны на лице засадили.

Война шла уже более трех месяцев, но до сих пор для Нюрани выражалась только в дополнительной работе: больницы и роддома переоборудовались под госпитали, тех пациентов, которых нельзя было выписать, свозили в одну больницу. Медперсонал сократился вдесятеро: большинство врачей, медсестер и даже санитарок мобилизовали. А женщины продолжали рожать. Как выражался их больничный сторож дед Кондрат: ссать и родить нельзя погодить.

И вот теперь война обрушилась на Нюраню лично. Ее, хорошего врача, беззащитную мирную женщину фашистский изверг расстреливал, играя и куражась, насмехаясь над красным крестом. Если бы не Орлик, немецкий летчик пристрелил бы Нюраню, точно зайца пугливого. Нюраня рыдала из-за

пережитого страха и от сознания того, что на родную землю пришла безжалостная, бесчеловечная, страшная в своем упоении вседозволенностью темная сила.

Нюраня давно так бурно не рыдала. Последний раз – когда отец, спасаясь от раскулачивания, увозил ее в Омск, от ненаглядного суженого Максимки. Нет, это был предпоследний раз. Прибыв в Курск, она устроила концерт в кабинете главного врача. Спустя много лет он иногда подмигивал: «А помнишь, как ты икала?» После рыданий, до которых в детстве и в юности Нюраня была большой охотницей, на нее нападала злостная икота. Проикала расставание с матерью, на которую, глупая, осерчала. В кабинете главного врача так звонко и оглушительно икнула, что доктор оросился фиолетовыми чернилами, брызнувшими с пера ручки.

И вот теперь снова икота – как пульсирующая затычка, словно мозг велит прекратить истерику и насылает судорожные спазмы. Не столько рыдания, сколько икота, забытая, нелепая, отдающая глупыми детскими горестями, успокоила Нюраню. Она обязательно найдет возможность передать весточку Николаю, сообщить, что Орлик погиб в бою, геройски спас ее от неминуемой смерти.

В Сибири говорили: «Женский обычай – слезами себе помогать». Хотя ее мама не терпела рыданий, злилась, когда видела слезы, считала, что они – от себяжаления. Иногда, если себя не пожалеть, то рехнешься.

Нюраня очнулась от предрассветного холода. Зеркальца у нее не было, но воображение с готовностью нарисовало автопортрет: волосы, облитые спекшейся лошадиной кровью, сикось-накось перевязанная физиономия. Отдирать присохшие тряпки не стоит, потому что новые повязки наложить не из чего. Легкое светло-серое габардиновое пальто в бурых кровавых разводах, но хотя бы прикрывает сбитые коленки, и почти не видно подранных чулок.

– Доктор Пирогова, – сказала Нюраня вслух, – вы хороши как никогда. Не хватает лисы на плечах. Но с лисой-то всякая дура обворожительна для неприятельской публики. Разговариваю сама с собой. Один из первых симптомов умственного расстройства. А вот и хрен вам! – Нюраня, присев под кустом справить малую нужду, скрутила фигу и чуть не свалилась, потеряв

равновесие.

По балке плыл туман – быстрый, клубящийся, подгоняемый ветерком. Он напрочь сбил ориентиры, куда идти не ясно, но пока можно подкрепиться. Нюраня грызла ядреную луковицу, заедала хлебом, запивала остатками воды. Отдохнув, выпавшись в лесу (пусть в балке – в сиротском лесу), Нюраня чувствовала себя прежней. Нет, сильнее, чем прежняя, и, определенно, не такой размазней как накануне.

– Да! Говорю вслух, но паническая шизофрения отменяется. А тебя!.. – Нюраня выругалась многосложно, обращаясь к фашистскому летчику, обвинив всех его предков в половых извращениях и пообещав, что потомков у него не будет по причине отсутствия детородных органов. Запнулась, не ожидав от себя матерной тирады. – О, как вырвалось! А теперь литературно: я тебя, фашист, больше не боюсь. И никто не заботится! Ты не знаешь, на какую землю и на какой народ позарился!

Туман рассеялся, остатки его стелились по жухлой осенней траве в балке, по ершистым озимым на поле. Вышло солнце – большое, нестерпимо оранжевое, доброе и равнодушное одновременно. Как Бог.

Нюраня шла по знакомой дороге, никогда прежде пешком не преодолеваемой, а только на бричке или в автомобиле. Шла и говорила, уже не вслух, про себя, только изредка взмахивая руками, грозя фашистам. Идти ей было три часа, ни разу не остановилась, хотя на подходах к городу не гримасничала уже и не размахивала руками – устала. Эта усталость походила на ту, что бывала в сибирскую крестьянскую страду во время сева или уборки урожая: сначала ты ой какая бодрая, работаешь и шутками перебрасываешься. Потом шутки и подначки сходят на нет. Какое-то время на бескрайнем поле, под необъятной вышиной неба, выгнувшемся голубым тазиком с редкими белыми барашками, все работают молча и упорно, пока мышцы окончательно не закаменеют и не станут ломать скелет – надо отдыхать, иначе назавтра тело превратится в пышущую болью квашню.

Очень хотелось пить, но ни ручейка, ни родничка Нюране не встретилось. Возможно, они были в стороне от дороги, но сворачивать, искать, терять время она не хотела.

Нюраня чуть притормозила, на ходу достала из сумки фляжку с самогоном, всколыхнула ее и сказала:

- Ты же процентов на шестьдесят или хотя бы на сорок вода?

Нюраня сделала большой глоток, закашлялась, глубоко вздохнула, с шумом втягивая воздух носом, и на выдохе прохрипела:

- Умом тронутым, тем, что сами с собой разговаривают, употреблять спиртное очень не рекомендуется.

Однако крепчайшая самогонка подстегнула мозг, который послал мышцам сигнал: «Вперед, ребята! Мы еще можем».

«Кому сказать, - думала Нюраня, шагая почти бодро и почти не шатаясь, - что если вмазать водки, то силы возрождаются и удваиваются, - не поверят. Что-то здесь не так с научной точки зрения».

Крестьяне, как бы не ухайдокивались в страду, ночуя в поле, никогда не принимали спиртного. Потому что расплата за него и за лишний труд будет очень тяжелой. Хорошие полководцы не поили воинов перед боем, а только после. Жестокие военачальники, что не берегли солдат, перед штурмом или атакой подносили чарочку - для храбрости, для безрассудной пьяной отваги.

Нюраня про полководцев и военачальников ничего не знала, а крестьянский труд до восемнадцати лет был ее основным. Она еще несколько раз прикладывалась к спасительной фляжке.

Шла по окраинам Курска и думала о том, как интересно было бы заняться физиологией. Нет, знаний все-таки не хватает. Вспомнить, как в институте училась, после четырех классов сельской школы-то! Днем и ночью зубрила то, что гимназисты с сопливых годочков знали. Она хотела стать врачом и стала! Ее специализация именно та, что была страстно желаемой. Бабы рожали, рожают и будут рожать! Всегда и везде. Прямо тут...

У пустого магазина с выбитыми стеклами зарешеченных окон, привалившись к стенке, на земле сидела молодая женщина. Основательно беременная. Дышала

мелко и часто, к вспотевшему лбу прилипли кудряшки темных волос. Рядом валялся небольшой чемодан.

– Рожаем? – подойдя, спросила Нюраня. – Вот интересно! А если бы я была травматологом, то вокруг меня все бы кости ломали? Или стоматологом? Ко мне бы притягивало бедолаг с пульпитами? Хорошая картинка: я иду по улице с лисой на плечах, а за мной тянутся косорылые, со вспухшими щеками, перевязанными платками. На макушке, – она подняла руку, игриво пошевелила пальцами над головой, – завязочки из узелка весело торчат. Как в кино. Почему в кино больных всегда изображают полудохлыми, но мужественными идиотами, а врачей сосредоточенными, но тоже чикчирикнутыми эскулапами?

Женщина смотрела на Нюраню со страхом: дама была грязна, облита чем-то подозрительно похожим на спекшуюся кровь, лицо тряпками перевязано, а когда присела, пахло луком и водкой.

– Я врач, – говорила эта странная вонючая, явно нетрезвая дама в дорогом габардиновом пальто, и туфли у нее не из дешевых. – На твое счастье я акушер-гинеколог. Меня тебе послал ваш бог... Иегова? Как там величают главное еврейское божество? Я здесь, с тобой, и на всех богов нам сейчас... в смысле, что они не прилетят и не помогут. Я устала до чертей собачьих, – дама говорила и, больно нажимая, ощупывала ее живот. – Головка внизу, предлежание плода классическое, можно сказать, отличное. Нам повезло. Слушать меня и повиноваться! Отвечать на вопросы четко и ясно. Вздумаешь блажить – развернись и уйду! Схватки есть?

– Да.

– Первородящая?

– Да.

– Когда начались схватки?

– Еще в поезде... они бомбили... там было столько убитых и раненых... я ползла... Это такой ужас!

– Не такой уж, если чемоданчик захватила. Отвечай четко на мои вопросы. Когда начались схватки? Три часа назад, пять, полчаса?

– Я не могу определенно сказать.

– Воды отошли?

– Куда?

Странная дама забралась ей под юбку и ощупала:

– Сухо. Воды еще не отошли, и это хорошо. Знаешь, о чем я мечтаю? Чтобы роженицы были мало-мальски образованы, чтобы они знали, как протекает процесс, участвовали в нем, помогали. Не мне! Своему ребенку! Неужели когда-нибудь наступит время, когда роженица будет приходить, в смысле поступать, в родовспомогательное учреждение на карете «скорой помощи», или, бери шире, доставляться на аэроплане, и они, роженицы, все из себя подготовленные... Мы раньше на Луну слетаем. Встаем, опираешься на мое плечо. Когда схватка, если мочи нет, приостановимся, но лучше двигаться. Волю в кулак, язык зубами прищемить, но двигаться. Усвоила?

– Чемодан! – завопила роженица, сделав с Нюраней несколько шажков.

– Забудь про него! До ближайшей больницы километров пять, до моего дома ближе.

– Там фотографии!

Роженица, безусловно еврейской национальности в ее наилучшем исполнении, – темные волнистые волосы на макушке, а на лбу и на висках сейчас спиральками прилипшие, миндалевидные глаза, трепещущие как аквариумные рыбки, гладкая кожа лица, в данный момент землистого цвета, но в хорошие времена наверняка была кофе с молоком. Чистое лицо беременной – это редкость. У большинства на щеках и на лбу ржавого или гречишного цвета неровные пятна. Как ты не хорони, не прячь девку, по лицу сразу поймешь – нагуляла, в подоле принесет. Живот можно спрятать, а лицо не укроешь.

Нюраню, несостоявшегося физиолога, всегда интересовало, какими процессами в организме вызываются эти пятна, пропадающие, как у нее самой после беременности и родов, а у кого-то остающиеся навечно, будто родимые.

- Тебе сейчас не о фотографиях думать надо! - одернула Нюраня женщину.

- Это все, что осталось от мамы, братьев, сестер! Они затолкнули меня в вагон, а сами остались... Я понесу, понесу...

- Она понесет! - подняла Нюраня чемодан. - Ты живот свой донеси.

Улица была пустынной, вымершей, дома на ней большей частью фашисты во время авианалетов разбомбили. Идти приходилось посередине мостовой, лавируя между грудями камней. Часто останавливаться: схватки у женщины накатывали каждые пять минут. Она держалась хорошо, мычала от боли, но не вопила в голос.

- Крепись, - говорила Нюраня, - береги силы. Эта боль - еще не боль. Вот когда головка станет врезаться, ты увидишь небо в алмазах. Роды - тяжелая физическая работа. Короткая, но требующая огромного мышечного напряжения, для него нужны силы, и тратить их на крики безрассудно. Хотя рассудочности от рожениц ждать все равно, что от мухи меду. Обезболивание в родах, особый наркоз - интереснейшая задача.

- Ее решат еще до полета на Луну? Вы, кажется, действительно врач.

- Она еще сомневалась.

- У меня выбора не было, - слабо улыбнулась женщина, восстанавливая дыхание после схватки. - Спасибо вам большое!

- Еще рано благодарить. Давай пошли, как можешь быстреей.

Тишины не было. Где-то впереди и справа ухало, квакало, строчило - будто на птичьем базаре случился переполох, и совы, дятлы, глухари и вороны, голуби и прочие пернатые устроили гвалт.

– Ведь это бой идет? – спросила женщина.

– Наверное, – равнодушно ответила Нюряня.

– Вам не страшно?

– Стреляют далеко, в районе кирпичного завода, там баррикады строили. А отбоялась я вчера – на все войны, эту и последующие. Шагай, милая, старайся!

Откуда взялась роженица, Нюране было ясно.

В Курске с дореволюционных времен имелась большая еврейская община. Говорили, что третья по величине после Москвы и Ленинграда. Евреи в своем районе жили компактно, ходили в синагогу, имели свои школы, микву (место ритуальных омовений), кладбище, на котором женщин хоронили в одной стороне, а мужчин – в другой. Говорили на идише, а на русском – со смешным акцентом и коверканьем слов. Русских и украинцев жилкомиссия тоже селила по ордерам в многоквартирные дома еврейского квартала, и дети их легко вписывались в мир, где еврейские мамы привечали и подкармливали всех детей, приглашали соседей на застолья по случаю своих чудны

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: <https://tellnovel.com/ru/natalya-nesterova/zhrebiy-pravednyh-greshnic-vozvraschenie>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)